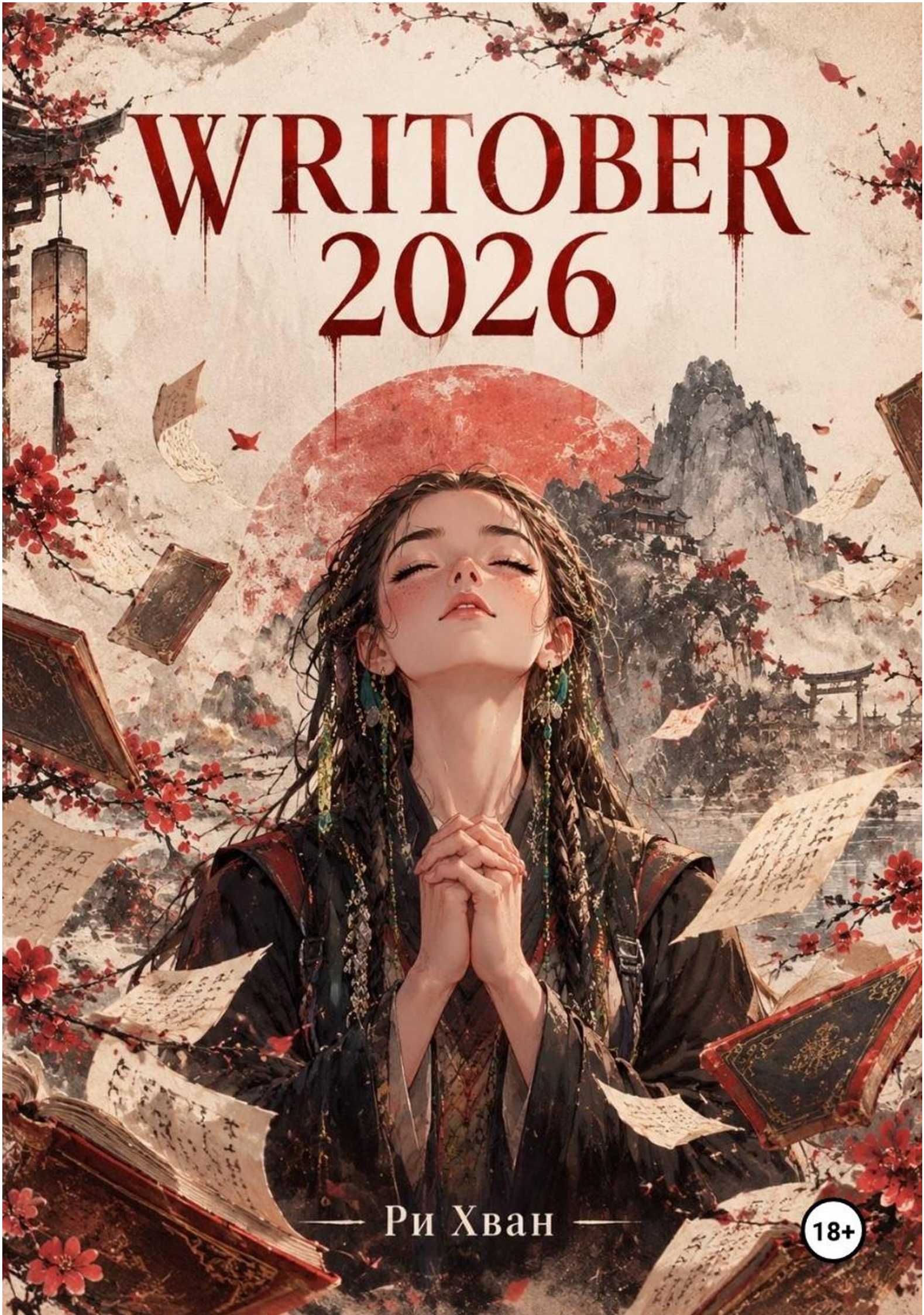

WRITOBER
2026
Ри Хван
18+

Ри Хван

Writiber - 2026

«Автор»
2026

Хван Р.

Writiber - 2026 / Р. Хван — «Автор», 2026

Сборник мрачных историй, где каждый рассказ — это погружение в глубины человеческой души. От мистических загадок до пронзительных драм — 31 история о выборе, боли и надежде, рассказанная через призму октябрьского настроения.

© Хван Р., 2026
© Автор, 2026

Содержание

1 - базовый лагерь 5
2 - банка с пауками 9
3 - убогие блаженны 17
4 - нулевой аркан 23
5 - волк, коза и капуста 27
6 - манифест 32
7 - форель разбивает лёд 37
Конец ознакомительного фрагмента. 43

Writiber - 2026

1 - базовый лагерь

Ветра здесь не было. Совсем. Такое бывает только в высокогорье, когда мороз выжигает саму способность воздуха двигаться, превращая его в густое, стеклянное ничто, которое приходится втягивать в лёгкие через силу, словно через мокрую шерсть. Палатка, стоявшая на вырубленной во льду площадке, казалась единственным островком тепла в этом океане стылой, безжалостной пустоты, но тепло это было обманчивым, как улыбка мертвеца. Свет от газового фонаря, шипящего и плевавшегося синеватым огоньком, выхватывал из темноты лица четверых мужчин, обветренные, покрытые коркой льда у ресниц, с глазами, в которых застыла одна и та же мысль, тяжелая и липкая, как смола.

Голод начался на третий день после того, как лавина отрезала их от базового лагеря. Сначала это было просто неприятное, сосущее чувство под ребрами, которое можно было заглушить горячим чаем и разговорами о том, как они спустятся и первым делом закажут огромные, сочные бургеры с беконом. На пятый день чай закончился, а разговоры стали тише, экономнее, словно каждое слово тоже отнимало драгоценные калории. На седьмой день они доели последний тюбик питательной пасты, и мир сузился до размеров этой палатки, пропитанной запахом немытых тел, резины и отчаяния.

— *Слышишь, Майк?* — голос Джека, хриплый, похожий на скрежет льда по камню, разорвал звенящую тишину. Джек был их лидером, здоровяк из Колорадо, который всегда знал, что делать. Сейчас его лицо, осунувшееся и серое, напоминало маску. — *Ты слышишь этот звук?*

Майк, сидевший в углу, привалившись спиной к ледяной стенке, медленно повернул голову. Майк был врачом, но здесь, на высоте семи тысяч метров, его знания были бесполезны, как аптечка для разбившегося вдребезги самолета. Он прислушался. Где-то на грани восприятия, за пределами слышимого диапазона, рождался низкий, вибрирующий гул. Он не шел извне. Он шел изнутри, из костей, из самого мозга, сплетаясь с ритмом сердца.

— *Это кровь в ушах, Джек,* — ответил Майк, и его голос прозвучал на удивление спокойно, хотя внутри него все сжималось от ледяного ужаса. — *Просто давление. Мы слишком высоко.*

— *Нет,* — упрямо мотнул головой Джек, и в его глазах вспыхнул нездоровый, лихорадочный блеск. — *Это они. Это спасатели. Они бурят лед. Я слышу дрель. Они близко.*

Слова «спасатели» и «бурят» прозвучали как заклинание. Двое других, Том и Билл, лежавшие в спальных мешках, зашевелились. Том, молодой парень из Огайо, с обкусанными до крови губами, приподнялся на локте.

— *Правда? Джек, ты слышишь вертолет?* — в его голосе было столько надежды, что она казалась осязаемой, теплой, но тут же умирала в этом холоде.

— *Не вертолет. Бурят,* — Джек говорил все громче, перекрикивая тишину, которая на самом деле была абсолютной. — *Я чувствую вибрацию. Майк, потрогай лед. Он дрожит!*

Майк не стал трогать лед. Он смотрел на Джека, и в горле у него встал ком. Он видел этот взгляд раньше, в учебниках, на фотографиях. Взгляд человека, чей мозг начал пожирать сам себя от голода и гипоксии. Джек не слышал буров. Он слышал предсмертный хрип своего рассудка.

— *Джек, послушай меня,* — Майк попытался встать, но ноги, опухшие и ватные, не слушались. — *Никто не бурит. Мы одни. Мы должны экономить силы.*

— *Ты не понимаешь!* — рявкнул Джек, и его лицо исказила гримаса ярости, тут же сменившаяся блаженной улыбкой. — *Они уже пробили первый слой. Слышишь? Скрип. Это тросы. Они спускают тросы. Надо только дождаться.*

С этого момента реальность в палатке начала трескаться, расползаться по швам, как перемороженная ткань. Тишина, которую Майк так отчаянно пытался сохранить, была разорвана в клочья. Джек начал говорить. Он говорил без умолку, часами, обращаясь то к невидимым спасателям, то к своим товарищам, то к кому-то невидимому, стоящему за стенами палатки. Он описывал, как они будут пить горячий кофе, как будут смеяться над этим кошмаром, как будут греться у камина в баре в Аспене. Слова лились из него потоком, ярким, цветным, безумным.

— *Эй, Билл!* — кричал Джек в рацию, хотя рация давно была мертва, ее батарея села еще два дня назад. — *Билл, старина, ты должен попробовать этот стейк. Он тает во рту! Слышишь, как шипит? Это мясо. Настоящее мясо!*

Билл, молчаливый механик из Детройта, смотрел на Джека остановившимся взглядом. В его глазах не было ни страха, ни надежды. Только тупая, животная тоска. Он больше не отвечал. Он просто лежал, свернувшись калачиком, и иногда издавал тихие, булькающие звуки, отдаленно напоминающие смех.

Майк чувствовал, как его собственный разум начинает плыть. Он цеплялся за реальность, за физические ощущения: колючую шерсть спальника, боль в обмороженных пальцах, вкус ржавчины во рту. Он пытался достучаться до Джека, вернуть его.

— *Джек, ради Бога, замолчи,* — прошептал Майк, но его шепот утонул в очередном монологе Джека о том, как вертолет Национальной гвардии сбрасывает им ящики с провизией.

— *Ты просто завидуешь,* — оскалился Джек, и в этом оскале не было ничего человеческого. — *Ты не веришь в спасение. Ты хочешь, чтобы мы сдохли здесь, как собаки. Но я не сдохну. Я буду есть. Я буду жить.*

Джек начал жевать. Он жевал край своего спального мешка, жевал ремни рюкзака, жевал куски льда, которые откалывал ногтями от стен палатки. Он жевал и улыбался, глядя в одну точку, и Майк понял, что Джек уже там, по ту сторону жизни, где голод утоляется галлюцинациями, а холод сменяется вечным огнем безумия.

Том сдался следующим. Он начал плакать. Тихо, беззвучно, слезы замерзали на щеках, превращаясь в ледяные дорожки. Он звал маму. Он просил прощения у жены. Он говорил о том, что не успел увидеть, как его сын сделает первый шаг. Майк подполз к нему, обнял, прижал к себе, пытаясь согреть своим телом, но от Майка самого уже не исходило тепла. Только запах болезни и умирания.

— *Том, держись,* — шептал Майк, хотя сам уже не верил в свои слова. — *Мы выберемся. Слышишь? Мы обязательно выберемся.*

— *Врешь,* — прошептал Том, и его глаза остекленели. — *Мы уже мертвы. Мы все уже мертвы. Просто еще не знаем об этом.*

К концу второго дня в палатке остался только голос Джека. Он говорил за всех. Он вел диалоги с Томом, который уже не дышал, он спорил с Биллом, чье сердце остановилось несколько часов назад. Он отдавал команды несуществующим спасателям, он пел песни, он смеялся. А Майк лежал в углу, зажав уши руками, и молился о том, чтобы это закончилось. Чтобы пришла лавина. Чтобы пришел медведь. Чтобы пришло что угодно, лишь бы прекратить этот бесконечный, леденящий душу монолог сумасшедшего.

А потом наступила тишина. Настоящая. Джек замолчал. Его тело, скрюченное в неестественной позе, застыло. Глаза были открыты, но не видели ничего. Майк выполз из палатки. Мороз ударил в лицо, обжигая кожу, выбивая остатки воздуха из легких. Мир вокруг был белым и синим. Белый снег, синее небо, черные скалы. И абсолютная, вакуумная тишина.

Майк начал копать. Он не помнил, как это произошло. В его памяти остались лишь обрывки: скрип снега под руками, тяжесть тел, которые он вытаскивал из палатки, их застывшие, негнущиеся конечности, которые не хотели помещаться в неглубокую яму, выкопанную во льду. Он таскал их по одному. Джека. Потом Тома. Потом Билла. Он укладывал их рядом,

как дрова, и смотрел на их лица, пытаясь найти в них что-то знакомое, но видел только восковые маски.

Он не помнил, сколько времени это заняло. Солнце висело в небе, не двигаясь, как приклеенное. Майк сидел рядом с телами, и в его голове начинал звучать голос. Сначала тихо, потом все громче. Голос Джека.

— Майк, ты почему не несешь трос? Майк, ты слышишь? Они бурят! Скажи им, чтобы они быстрее!

Майк зажал голову руками, но голос не исчезал. Он звучал изнутри, из глубины черепа, гулкий, как эхо в пещере. Майк начал отвечать.

— Джек, они не бурят. Они не придут. Мы одни.

— Врешь! — кричал голос Джека. *— Ты просто хочешь есть! Ты хочешь съесть меня!*

Майк закричал. Он кричал так громко, как мог, но звук увязал в снегу, не улетая дальше вытянутой руки. Он кричал слова, которые говорил Джек. Он предлагал Тому стейк. Он просил Билла подержать трос. Он звал спасателей. Он умолял маму прийти и забрать его домой.

Сознание вернулось рывком, как будто кто-то выдернул шнур из розетки. Резкий, химический запах. Не снег, не лед, не пот. Запах антисептика и лекарств. Яркий, режущий глаза свет. Не синий, не белый, а какой-то мертвенно-желтый, больничный. И звуки. Не тишина высокогорья, а ритмичное пиканье, шорох колес по линолеуму, приглушенные голоса за дверью.

Майк попытался пошевелиться, но тело не слушалось. Руки и ноги были пристегнуты к кровати толстыми кожаными ремнями. Они впивались в запястья и щиколотки, не давая даже приподняться. Голова была тяжелой, как чугунный шар. Во рту пересохло, язык прилип к небу.

— Трос! — прохрипел Майк, и его голос, сорванный, чужой, ударился о стены палатки. Нет, не палатки. Палаты. *— Джек, держи трос! Они спускают трос!*

В поле зрения появилось лицо. Молодая женщина в белом халате, с усталыми, но добрыми глазами. Она что-то говорила, но Майк не слышал ее. Он слышал только голос Джека, который снова начал бурить лед.

— Не надо! — закричал Майк, дергаясь в ремнях. *— Не бурите! Там Том! Там Билл! Вы раздавите их!*

Женщина обернулась, крикнула что-то в коридор. Появились другие люди в белых халатах. Они держали его, пытались успокоить, но их руки казались Майку ледяными лапами смерти. Он видел перед собой не их лица, а лица своих друзей. Застывшие, синие, с коркой льда на ресницах.

— Я вытащил вас! — кричал Майк, захлебываясь слезами и слюной. *— Я вытащил вас из снега! Почему вы молчите? Почему вы не едите стейк? Джек, ты же хотел стейк!*

Врач сделал укол. Тепло разлилось по венам, но оно не согревало. Оно убаюкивало, утягивало в темноту. Майк сопротивлялся, цепляясь за реальность, за голос Джека, который был единственным, что осталось от той жизни, от того мира, где они были друзьями, где они были живы.

— Не уходи, — прошептал Майк, глядя в потолок, где вместо лампы ему виделось синее небо над вершиной. *— Пожалуйста, не уходи. Я буду говорить. Я буду говорить с вами. Только не оставляйте меня одного.*

Но голос Джека стихал. Буры умолкали. Снег переставал скрипеть. Оставалась только пустота. Огромная, как вселенная, и холодная, как космос. Майк закрыл глаза, и по его щеке скатилась горячая слеза, единственное тепло, которое он мог еще произвести. Слеза упала на больничную простыню, оставив темное пятно, похожее на крошечную, тающую льдинку.

Медсестра поправила капельницу и тихо вышла из палаты. В коридоре она вытерла глаза и посмотрела на историю болезни. «Майкл Райли, 34 года. Единственный выживший в экспедиции на Денали. Обнаружен спасателями через 18 дней после схода лавины. Диагноз: тяже-

лая дегидратация, обморожение конечностей, острая реакция на стресс, психоз». Ниже, красными чернилами, было дописано: «Пациент продолжает вести диалоги с погибшими членами группы. Считает, что они находятся рядом. Требует немедленной психиатрической помощи».

А в палате, в тишине, нарушаемой только пиканьем кардиомонитора, Майк снова открыл глаза. Он смотрел в белый потолок, но видел перед собой заснеженный склон. Он слышал, как ветер завывает в проводах, как Джек зовет его из темноты.

— *Я иду,* — прошептал Майк, и его губы тронула слабая, безумная улыбка. — *Я иду, Джек. Только не бурите. Я сам. Я сам вас вытащу.*

Ремни натянулись, кожа на запястьях покраснела, но Майк не чувствовал боли. Он снова был там, наверху, среди льда и снега, среди своих друзей. Он снова копал. Он снова спасал. И в этом безумии было больше человеческого, чем в стерильной белизне больничной палаты. Потому что там, в этом ледяном аду, он был нужен. Он был тем, кто не бросил. Он был тем, кто остался.

Пиканье монитора участилось, отражая бурю, бушевавшую в его душе. Врачи вбежали в палату, но Майк их не видел. Он видел только лица. Джека, Тома, Билла. Они смотрели на него с укором и надеждой.

— *Слышите?* — прошептал Майк, глядя сквозь них, сквозь стены, сквозь время. — *Слышите, как тихо? Это снег. Это просто снег. Он нас не убьет. Мы сильнее. Мы же альпинисты.*

И в этот момент, в стерильной тишине больничной палаты, Майк закрыл глаза и улыбнулся. Он наконец-то вернулся домой.

2 - банка с пауками

Запах застоявшегося кофе и старого паркета в бруклинской квартире с высокими потолками всегда казался ей запахом несбывшихся обещаний, но теперь к нему примешивался едва уловимый металлический привкус вражды, который оседал на языке всякий раз, когда она проходила мимо его комнаты. Голые лампочки в коридоре, которые они так и не удосужились заменить на нормальные светильники, отбрасывали резкие тени на стены, где когда-то висели их совместные фотографии, а теперь остались лишь бледные прямоугольники незапятнанной краски — молчаливые призраки счастливых времён, которые они оба пытались забыть, но не могли, потому что каждое утро просыпались в одной и той же квартире, связанные не чувствами, не любовью и даже не ненавистью, а миллионом подписчиков, которые жаждали продолжения банкета.

Эмили — с растрёпанными светлыми волосами, в мешковатой футболке с логотипом «New York Knicks», которую она носила уже третьи сутки подряд, — стояла на кухне, прижав к уху телефон, и слушала, как на другом конце провода их менеджер, Брэд, сдавленным от отчаяния голосом умолял её не разрушать то, что строилось годами. Медовый запах остывающей овсянки, которую она так и не съела, смешивался с резким, почти химическим ароматом её духов, и от этого сочетания у неё начинала кружиться голова, но она не двигалась с места, потому что ноги, казалось, приросли к холодному кафельному полу, а пальцы, побелевшие на краю столешницы, мелко дрожали.

— Эмили, послушай меня, — голос Брэда прерывался, словно он говорил из-под воды, — вы оба взрослые люди, вы можете договориться. Аккаунт — это ваша жизнь, это ваш хлеб, вы не можете просто взять и...

— Я не могу больше видеть его лицо, Брэд, — прошептала она, и собственный голос показался ей чужим, скрипучим, будто несмазанная дверь, — я не могу больше читать комментарии, где нас называют идеальной парой, когда мы... мы даже не разговариваем друг с другом.

Дверь в спальню, которую он занимал после разрыва, со скрипом отворилась, и в кухню вошёл Джек — высокий, с тёмными кругами под глазами, в мятой рубашке, пахнущей табаком и стиральным порошком, — и Эмили почувствовала, как воздух в комнате стал плотнее, тяжелее, будто кто-то налил в лёгкие свинца. Он не смотрел на неё. Вместо этого он открыл холодильник, и ледяная волна, вырвавшаяся оттуда, коснулась её обнажённых рук, заставив покрыться мурашками, но она не пошевелилась, только сильнее сжала телефон, чувствуя, как пластик впивается в ладонь.

— Брэд звонит? — спросил Джек, не поворачивая головы, и в его голосе не было ни капли интереса, только глухое, почти животное раздражение, которое вибрировало на низких частотах и отдавалось где-то в её грудной клетке.

— А ты как думаешь? — ответила она, и слова упали между ними, как осколки стекла, — он хочет, чтобы мы продолжали этот цирк.

Тишина, повисшая после её слов, была густой, осязаемой, как патока, и в этой тишине было слышно, как где-то на улице проехал грузовик, как за стеной сосед включил телевизор, как капает вода из неплотно закрытого крана — каждая мелочь звучала оглушительно, потому

что они оба молчали, боясь сказать лишнее. Джек достал пакет апельсинового сока, и звук отвинчиваемой крышки показался Эмили выстрелом. Он сделал глоток прямо из пакета, и это было настолько по-детски, настолько по-домашнему, что у неё внутри всё сжалось от боли, потому что когда-то эта привычка казалась ей милой, а теперь вызывала почти физическое отвращение.

— Знаешь, что я думаю? — произнёс он, наконец поворачиваясь к ней, и его глаза, когда-то тёплые, карие, сейчас были похожи на два куска льда, — я думаю, что ты просто не хочешь отпускать. Тебе нравится быть жертвой. Тебе нравится, когда тебя жалеют.

Кровь прилила к её щекам, и кожа стала горячей, почти обжигающей, будто кто-то провёл по лицу раскалённым полотенцем. Она шагнула вперёд, и паркет под её босыми ногами скрипнул, выдавая её волнение. Запах его одеколона — сандал и что-то цитрусовое — ударил в нос, и этот запах был настолько знакомым, настолько родным, что на секунду ей захотелось просто закрыть глаза и забыть всё, как страшный сон.

— Не смей, — выдохнула она, и голос её сорвался на шёпот, — не смей превращать это в мою вину. Ты первый начал выкладывать эти дурацкие сторис с той блондинкой из бара.

— Потому что ты выложила фото с Марком за час до этого! — закричал он, и его голос отразился от стен, от высоких потолков, заполнил собой всё пространство, и Эмили показалось, что стены сейчас начнут трескаться, — ты сделала это специально, чтобы меня уколоть!

— А ты думал, я буду молчать? — её смех был резким, как лай, и в нём не было ни капли веселья, — ты думал, я буду сидеть и смотреть, как ты строишь из себя холостяка, пока я тут... пока я тут задыхаюсь в этой квартире, которую мы не можем продать, потому что она записана на нас обоих?!

Он подошёл ближе, так близко, что она почувствовала тепло его тела, и этот контраст — жар от него и холод от кафеля под ногами — вызвал у неё головокружение. Их взгляды встретились, и в этом столкновении было столько всего: ярость, обида, усталость и где-то на самом дне, придавленная тоннами взаимных упрёков, — тоска по тем временам, когда они просыпались вместе и смеялись над ерундой.

— Мы подписали контракт, Эмили, — прошипел он, и капельки его слюны попали ей на щёку, но она не вытерла их, — мы не можем просто взять и...

— Я знаю, что мы подписали! — перебила она, и слёзы, горячие и солёные, потекли по её лицу, оставляя влажные дорожки, которые холодили кожу, — я знаю, что мы должны миллион долларов, я знаю, что мы не можем разорвать аккаунт, но я не могу больше притворяться! Я не могу писать «доброе утро, любимые подписчики», когда я хочу разбить что-нибудь!

Джек отступил на шаг, и его плечи, напряжённые до предела, слегка опустились. Он провёл рукой по волосам, и этот жест — такой знакомый, такой привычный — вызвал у неё новый приступ боли, потому что когда-то она любила запускать пальцы в эти тёмные пряди. Теперь между ними была пропасть, и эта пропасть заполнялась словами, которые они говорили друг другу, и слова эти были как кислоты, разъедающие остатки того, что когда-то было любовью.

Первая неделя после разрыва была самой странной. Они всё ещё просыпались в одной постели — потому что диван в гостиной был слишком узким, а покупать новый не было ни денег, ни желания, — и по утрам их тела, помимо воли, тянулись друг к другу, ища привычного тепла. Эмили просыпалась от того, что его рука лежала на её талии, тяжёлая и горячая, и на несколько секунд, пока сознание ещё не включилось полностью, ей казалось, что ничего не изменилось, что это просто очередное утро, и сейчас он пробормочет что-то невнятное, притянет её ближе, и мир снова станет целым. Но потом реальность обрушивалась на неё, как ведро ледяной воды, и она выскальзывала из-под его руки, и шла в душ, и стояла там, под горячими струями, чувствуя, как кожа краснеет, а слёзы смешиваются с водой, и запах хлорки и лаванды — их геля для душа, который они купили вместе в том самом магазине на Бродвее, — вызывал тошноту.

Первые посты после разрыва они делали вместе, сидя на разных концах дивана, и это было похоже на игру в шахматы, где каждый ход мог стать роковым. Эмили писала текст, Джек подбирал фото, и между ними был ноутбук — холодный, металлический, как граница между двумя воюющими государствами. Подписчики ничего не замечали. В комментариях писали: «Вы такие милые», «Завидую вашей любви», «Хочу такие отношения», и каждое из этих слов было как игла, вонзающаяся под ногти. Эмили улыбалась, читая это, и улыбка её была натянутой, как струна, готовая вот-вот лопнуть. Джек сидел рядом, и от него пахло табаком и кофе, и этот запах был настолько привычным, что она ловила себя на том, что вдыхает его глубже, чем следовало, и ненавидела себя за это.

Потом начались мелкие уколы. Он выложил сторис с подписью «Свобода — это когда никто не указывает, что тебе делать», и она поняла, что это камень в её огород. Она ответила постом: «Некоторые люди путают свободу с одиночеством, но это разные вещи», и почувствовала, как внутри разливается горячее, почти приятное чувство мести. Подписчики начали что-то подозревать. Комментарии стали осторожнее, вопросы — прямее: «У вас всё хорошо?», «Вы вместе?», «Почему вы больше не фотографируетесь вдвоём?». Они игнорировали эти вопросы, но каждый игнор был как ещё один кирпич в стене, которая росла между ними.

К третьей неделе они перестали разговаривать вне камеры. Общение сводилось к коротким, резким фразам, которые они бросали друг другу через плечо, и эти фразы были как удары хлыста. «Ты выключил свет в ванной?» — «Тебе трудно самой это сделать?». «Ты купила молоко?» — «Я не твоя служанка». Запах в квартире изменился: теперь это была смесь старого белья, немытых чашек и какого-то кислого, почти уксусного запаха, который, казалось, въелся в обои. Они перестали готовить. Питались фастфудом, и картонные коробки из-под пиццы громоздились на кухне, как памятники их разрушенному быту.

Первое публичное унижение случилось в прямом эфире. Они сидели перед камерой, потому что Брэд настоял на «восстановлении контакта с аудиторией», и Эмили надела красивое платье, и накрасила губы красной помадой, и улыбалась так, что у неё болели щёки. Джек сидел рядом, и от него пахло виски, и этот запах был настолько сильным, что она чувствовала его даже через экран, хотя понимала, что это невозможно. Подписчики забрасывали их вопросами, и они отвечали, и слова их были гладкими, отполированными, как галька на пляже. А потом кто-то спросил: «А как вы познакомились?». И Джек, вместо того чтобы рассказать ту милую историю, которую они отрепетировали, усмехнулся и сказал: «О, это было в баре. Она была пьяная и не могла найти выход. Я помог ей. Вот и вся романтика».

Кровь отхлынула от её лица, и кожа стала холодной, как мрамор. В ушах зашумело, и звук этот был как прибой, накрывающий с головой. Она посмотрела на него, и в её взгляде было столько ярости, что, казалось, воздух вокруг них начал плавиться. Подписчики замерли. Чат на секунду опустел, а потом взорвался сотнями сообщений: «Что?», «Это шутка?», «Они что, расстались?». Эмили сняла наушники, и они упали на стол с глухим стуком, и этот звук был как выстрел.

— Ты закончил? — спросила она, и голос её был тихим, почти ласковым, и от этой ласковости Джек вздрогнул, потому что понял, что она в ярости.

— Я просто сказал правду, — ответил он, пожимая плечами, но пальцы его, лежащие на коленях, мелко дрожали, выдавая волнение.

— Правду? — она рассмеялась, и смех её был резким, как карканье вороны, — ты хочешь правду? Хорошо. Правда в том, что ты никогда не любил меня. Ты любил то, что я давала тебе. Дом. Уют. Картинку. А теперь, когда картинка треснула, ты не знаешь, что делать.

Чат зашёлся в истерике. «Они расстались!», «Это конец!», «Я так и знала!». Джек смотрел на неё, и в его глазах было что-то новое — страх. Он боялся не её, не скандала, не потери подписчиков. Он боялся того, что она сказала правду. И от этого осознания у Эмили внутри что-то оборвалось, и она почувствовала, как пустота, которая жила в ней все эти недели, разрастается, заполняет всё, и ей стало трудно дышать.

После этого эфира они перестали притворяться. Посты стали откровенно враждебными. Джек выкладывал фото разбросанных вещей с подписью: «Некоторые люди не умеют жить с другими». Эмили отвечала сторис с пустой бутылкой вина: «Некоторые люди не умеют жить вообще». Подписчики разделились на несколько лагерей, и в комментариях началась настоящая война. «Эмили, ты заслуживаешь лучшего!», «Джек, она тебя не достойна!», «Вы двое — токсичные люди!», «Это всё ради хайпа!». Каждое слово было как удар, и они получали эти удары, и, казалось, наслаждались болью, потому что боль была хоть каким-то чувством, а всё остальное давно умерло.

Квартира превратилась в поле боя. Они перестали убирать. Грязная посуда громоздилась в раковине, и запах разлагающейся еды пропитал все вещи, и даже одежда, которую они носили, пахла этим запахом — сладковатым, тошнотворным, как запах смерти. Эмили перестала мыть волосы. Джек перестал бриться. Они ходили по квартире, как призраки, и единственным звуком, нарушающим тишину, был стук клавиатуры, когда они писали очередной пост, полный ненависти. Подписчики жадно ловили каждое слово, и их количество росло — миллион превратился в полтора, потом в два. Брэд звонил каждый день, и его голос становился всё более паническим, но они не отвечали. Они были слишком заняты, разрушая друг друга.

Однажды ночью Эмили проснулась от того, что не могла дышать. В комнате пахло газом — тонко, едва уловимо, но этот запах был настолько реальным, что она вскочила с кровати, и сердце её колотилось, как бешеное, и кровь стучала в висках. Она бросилась на кухню и увидела, что одна из конфорок открыта, и газ шипит, вырываясь в воздух, и этот звук был как змеиное шипение, и она замерла, парализованная ужасом. Джек спал в своей комнате, и храп его доносился из-за двери, и Эмили поняла, что он сделал это случайно — или не случайно? — и эта мысль была настолько страшной, что она зажала рот рукой, чтобы не закричать.

Она закрыла газ, и окно, и впустила в квартиру холодный ночной воздух, и запах города — бензина, мокрого асфальта, чьей-то готовящейся еды — ворвался в лёгкие, и она дышала, дышала, дышала, пытаясь успокоиться. Сердце всё ещё колотилось, и руки тряслись, и она села на пол, прямо на холодный кафель, и обхватила колени руками, и заплакала — тихо, беззвучно, чтобы не разбудить его. Она плакала о том, что они потеряли, о том, кем они стали, о том, что когда-то любила его так сильно, что готова была отдать всё, а теперь не могла даже находиться с ним в одной комнате без того, чтобы не чувствовать, как внутри всё переворачивается от отвращения.

Утром она приняла решение. Это было не озарение, не вспышка, а скорее тихое, спокойное понимание, которое приходит после долгих бессонных ночей. Она сидела на подоконнике, и солнце, пробиваясь сквозь грязное стекло, падало на её лицо, и тепло было приятным, почти ласковым, и она чувствовала, как кожа впитывает этот свет, и впервые за долгое время ей не хотелось плакать. Она смотрела на телефон, на экран, где светился их аккаунт — два миллиона подписчиков, миллионы просмотров, тысячи комментариев, — и понимала, что это не спасение, а клетка. Они думали, что создают что-то важное, что-то настоящее, но на самом деле они построили тюрьму, и стены этой тюрьмы были из лайков и репостов, и они сами заперли себя внутри.

Джек вышел из комнаты, и вид у него был помятый, усталый, и от него пахло перегаром и потом, и этот запах был настолько неприятен, что Эмили поморщилась. Он посмотрел на неё, и в его глазах мелькнуло что-то — удивление? беспокойство? — но она не стала задерживаться на этом взгляде. Она встала с подоконника, и босые ноги коснулись холодного пола, и это прикосновение было отрезвляющим, как пощёчина.

— Я хочу поговорить, — сказала она, и голос её был спокойным, ровным, без единой трещинки.

— О чём? — он зевнул, и зевок этот был искренним, и от этого ей стало ещё противнее.

— О нас. О том, что мы делаем.

Он подошёл к кофемашине, и она зажужжала, и запах свежего кофе наполнил кухню, и этот запах был как призрак прошлого, как напоминание о тех утрах, когда они пили кофе вместе, и он рассказывал ей о своих планах, а она слушала и улыбалась. Теперь этот запах вызывал только горечь.

— Что тут говорить? — ответил он, не оборачиваясь, — мы застряли. Мы не можем разойтись, потому что контракт. Мы не можем разорвать контракт, потому что неустойка. Мы не можем заплатить неустойку, потому что у нас нет денег. Всё просто.

— Просто? — она подошла ближе, и теперь между ними было расстояние вытянутой руки, и она чувствовала тепло от его тела, и это тепло было чужим, — ты думаешь, это просто? Ты думаешь, я хочу так жить? В этой грязи, в этой ненависти, в этом...

— А чего ты хочешь? — он резко повернулся, и чашка в его руке дрогнула, и горячий кофе выплеснулся на пол, и запах стал ещё сильнее, — скажи мне, чего ты хочешь? Чтобы я ушёл? Чтобы я оставил тебе аккаунт? Чтобы ты забрала всё себе?

— Я хочу, чтобы это закончилось, — прошептала она, и слёзы, которые она так долго сдерживала, потекли по щекам, и они были горячими, почти обжигающими, — я хочу, чтобы мы перестали мучить друг друга. Я хочу... я хочу убить этот аккаунт.

Тишина, наступившая после этих слов, была абсолютной. Даже кофемашина перестала жужжать, и часы на стене остановились, и весь мир, казалось, замер, ожидая его ответа. Джек смотрел на неё, и в его глазах было столько всего — недоверие, страх, ярость, — что она не могла разобрать, какое из этих чувств сильнее. Чашка в его руке задрожала, и кофе, оставшийся на дне, расплескался по его пальцам, и он не заметил этого.

— Ты сумасшедшая, — выдохнул он, и голос его сорвался на шёпот, — ты понимаешь, что это значит? Мы потеряем всё. Всё, что мы строили годами. Деньги. Славу. Будущее.

— У нас нет будущего, Джек, — ответила она, и голос её был твёрдым, как камень, — у нас есть только прошлое, и это прошлое гниёт. Оно отравляет нас. Оно убивает нас медленно, каждый день, каждый пост, каждый комментарий. Я не хочу так жить. Я не хочу умереть в этой квартире, в этой ненависти, в этом...

Она замолчала, потому что не могла найти слов. Слова были слишком маленькими, слишком слабыми, чтобы описать то, что она чувствовала. Она просто стояла и смотрела на него, и слёзы текли по её лицу, и она не вытирала их, потому что это было неважно. Ничего не было важно, кроме этого момента, кроме этого решения, которое она приняла не умом, а сердцем — тем самым сердцем, которое, как она думала, умерло, но оказалось, всё ещё бьётся, всё ещё хочет жить.

Джек отвернулся. Он поставил чашку на стол, и звук фарфора о дерево был резким, как удар. Он прошёл в свою комнату, и дверь за ним захлопнулась с грохотом, и этот грохот отдался в её груди, как эхо давно прошедшей бури. Эмили осталась одна на кухне, и запах кофе и газа смешивался с запахом её слёз, и она стояла, и дышала, и чувствовала, как что-то внутри неё меняется — медленно, болезненно, но необратимо.

Она вернулась на подоконник, и открыла ноутбук, и пальцы её, всё ещё дрожащие, забегали по клавишам. Она зашла в аккаунт — их общий аккаунт, их ребёнок, их тюрьму, — и посмотрела на миллион подписчиков, на миллионы лайков, на тысячи комментариев, и впервые за долгое время не почувствовала ничего, кроме усталости. Она открыла настройки, и нашла кнопку «удалить аккаунт», и курсор завис над ней, дрожа, как бабочка над огнём. Она думала о том, что будет дальше: о неустойке, о суде, о Брэде, который, наверное, никогда с ней не заговорит, о Джеке, который, возможно, возненавидит её навсегда. Она думала о подписчиках, которые проснутся утром и не найдут их страницу, и, может быть, расстроятся, а может быть, даже не заметят. Она думала о себе — о той девушке, которая когда-то улыбалась в камеру и верила, что строит что-то важное. И она поняла, что та девушка давно умерла, и что она, нынешняя, — это всего лишь её призрак, блуждающий по коридорам собственной жизни.

Палец нажал на кнопку. Экран мигнул, и появилось окно подтверждения: «Вы уверены? Это действие нельзя отменить». Она замерла, чувствуя, как холодок пробегает по спине, как воздух в комнате становится плотнее, как время замедляется, растягивается, как резина. Она подумала о Джеке — о его руках, которые когда-то обнимали её, о его голосе, который когда-то шептал ей на ухо, что всё будет хорошо, о его глазах, которые когда-то смотрели на неё с такой любовью, что у неё перехватывало дыхание. Она подумала о том, что они потеряли, и о том,

что ещё можно спасти. И потом она подумала о тишине — о той тишине, которая наступит, когда исчезнет этот аккаунт, когда исчезнут комментарии, лайки, сторис, вся эта мишура, весь этот шум. Тишина, в которой можно будет услышать собственные мысли. Тишина, в которой можно будет дышать.

Она нажала «Да».

Экран мигнул, и страница исчезла, и на её месте появилось пустое белое поле, и это поле было как чистый лист, как начало чего-то нового, как рассвет после долгой ночи. Эмили закрыла ноутбук, и звук захлопывающейся крышки был как выстрел, как точка, как конец. Она сидела на подоконнике, и солнце светило ей в лицо, и тепло было мягким, почти нежным, и она чувствовала, как что-то внутри неё отпускает, разжимается, как пружина, которая слишком долго была сжата.

Из комнаты Джека не доносилось ни звука. Тишина была полной, абсолютной, и в этой тишине Эмили вдруг услышала, как бьётся её сердце — ровно, спокойно, живо. Она закрыла глаза, и представила, что стоит на берегу океана, и волны омывают её ноги, и ветер пахнет солью и свободой, и нет никаких подписчиков, никаких лайков, никаких комментариев — есть только она, и небо, и вода, и бесконечное, головокружительное чувство пустоты, которое на самом деле было не пустотой, а свободой.

Через час Джек вышел из комнаты. Он выглядел старше, чем утром, — морщины на лбу стали глубже, плечи опустились, руки висели вдоль тела, как плети. Он подошёл к ней, и встал рядом, и она почувствовала запах табака и пота, и этот запах больше не вызывал отвращения — просто был, как факт, как данность. Он посмотрел на пустой экран ноутбука, и на его лице не было ни ярости, ни отчаяния — только усталость, такая же, как у неё, только такая же бесконечная.

— Ты сделала это, — сказал он, и голос его был хриплым, как будто он долго молчал или кричал.

— Да, — ответила она, и это слово прозвучало легко, почти невесомо.

— Что теперь?

— Не знаю.

Они стояли молча, и солнце медленно двигалось по небу, и тени на полу становились длиннее, и где-то на улице закричал ребёнок, и залаяла собака, и мир продолжал жить, не замечая, что где-то в Бруклине, в квартире с высокими потолками, два человека только что похоронили своё прошлое и стояли на пороге чего-то нового — неизвестного, страшного, но всё-таки нового.

Эмили повернулась к нему, и посмотрела в его глаза, и впервые за долгое время не увидела там врага. Она увидела просто человека — уставшего, потерянного, такого же, как она. И она протянула руку, и коснулась его ладони, и его пальцы, холодные и шершавые, сомкнулись вокруг её пальцев, и это прикосновение было не любовью и не ненавистью, а чем-то третьим — прощанием. Прощанием с тем, что было. Прощанием с тем, кем они были. Прощанием с аккаунтом, который умер, чтобы они могли жить.

— Я не знаю, что будет дальше, — прошептала она, и голос её дрогнул, но не от слабости, а от чего-то другого — от надежды, может быть, или от страха, — но я знаю, что я больше не хочу притворяться.

Он кивнул, и в этом кивке было больше слов, чем в любом разговоре, который они вели за последние месяцы. Он отпустил её руку, и отошёл к окну, и закурил, и дым, серый и едкий, поплыл в воздухе, смешиваясь с солнечным светом, и Эмили смотрела на этот дым, и думала о том, что жизнь — это не лайки и не подписчики, не посты и не сторис. Жизнь — это запах кофе по утрам. Это тепло чужой руки. Это тишина, в которой можно услышать себя. Это возможность начать всё сначала, даже если не знаешь, с чего начать.

Она встала с подоконника, и босые ноги коснулись холодного пола, и этот холод был отрезвляющим, но не болезненным. Она прошла в свою комнату, и закрыла дверь, и села на кровать, и обняла подушку, и заплакала — не от горя, не от обиды, а от облегчения. Слёзы текли по её лицу, и она не вытирала их, потому что это было неважно. Важно было только одно: она сделала это. Она убила аккаунт. Она освободилась. И теперь, когда шум стих, она могла услышать свой собственный голос — тихий, но живой, настоящий.

За окном шумел Бруклин. Пахло весной — мокрой землёй, распускающимися почками, чьим-то барбекю. Где-то играла музыка, и смеялись дети, и лаяли собаки, и жизнь продолжалась — со всеми её запахами, звуками, красками. Эмили лежала на кровати, и смотрела в потолок, и чувствовала, как внутри неё рождается что-то новое — робкое, неуверенное, но живое. Она не знала, что будет завтра. Она не знала, сможет ли расплатиться с долгами, сможет ли найти работу, сможет ли простить Джека и себя. Но она знала, что теперь у неё есть шанс. Шанс на тишину. Шанс на свободу. Шанс на жизнь, в которой не нужно улыбаться, когда хочется плакать, и публиковать фото счастливых моментов, когда внутри всё горит.

Она закрыла глаза, и представила, что стоит на берегу океана, и волны омывают её ноги, и ветер пахнет солью и свободой, и нет никаких подписчиков, никаких лайков, никаких комментариев — есть только она, и небо, и вода, и бесконечное, головокружительное чувство пустоты, которое на самом деле было не пустотой, а свободой. И в этом чувстве не было страха. Была только она — настоящая, живая, свободная.

А где-то в другой комнате Джек докурил сигарету, и открыл окно, и впустил в квартиру свежий воздух, и этот воздух был как глоток воды после долгой засухи. Он посмотрел на телефон, на пустой экран, на котором больше не светился их аккаунт, и почувствовал, как что-то внутри него отпускает. Он не знал, что будет дальше. Он не знал, сможет ли простить её, сможет ли простить себя. Но он знал, что теперь, когда шум стих, он может услышать свой собственный голос — тихий, но живой. И этого было достаточно.

Весна в Бруклине пахла свободой.

3 - убогие блаженны

Город Сан-Франциско никогда не спал, но теперь он не спал по-другому: не от тревоги, не от жадности, не от любви, а от ровного, сытого, искусственно поддерживаемого блаженства, которое стекало с холмов в низины, как теплый сироп, и заполняло собой все щели, все переулки, все лица. Воздух пах не выхлопными газами и не соленым туманом с залива, а чем-то средним между свежеиспеченным хлебом и больничным антисептиком — так пахло «Каскадом», центральным сервером счастья, чьи вышки, утыканные антеннами, торчали над городом, как серебряные ежи, и транслировали в эфир ту самую частоту, которую большинство жителей уже не слышало ушами, а чувствовало затылком, позвоночником, кончиками пальцев. Люди шли по улицам с расслабленными плечами, с легкими, почти танцующими шагами, и улыбались так, будто кто-то невидимый держал уголки их губ двумя пальцами и не давал им опуститься; впрочем, так оно и было — только эти пальцы были цифровыми, и держали они не мышцы, а нейронные контуры, вживленные в мозг еще в младенчестве или, для опоздавших, в зрелости, за немалые деньги и с обязательной подпиской на обновления.

В тени этих улыбок, в подворотнях, где «Каскад» не добивал до конца, жили те, кого называли «убогими» — слово, которое произносили с брезгливой жалостью, как произносят диагноз, и которое сами они давно перестали оспаривать, потому что спорить с сытым бессмысленно. Убогие были разными: старики, у которых чипы отторглись, как отторгается чужеродная ткань; сектанты, считавшие боль единственной честной валютой; дети, рожденные от матерей, отказавшихся от имплантации, и потому не получившие ни единой цифровой заплатки на свою и без того хрупкую психику. Они страдали — по-настоящему, физически, всем нутром, — и именно поэтому они чувствовали реальность острее, чем те, кто плавал в искусственном сиропе; они знали, что асфальт может быть холодным, что ветер может резать щеки, что голод — это не абстрактное слово, а скручивающаяся в узел пустота под ребрами, и что слезы, если их не глушить чипом, оставляют на коже соленые дорожки, которые высыхают и стягивают лицо, как маска.

Элизабет Коннорс, тридцати четырех лет, с руками, покрытыми сеткой мелких шрамов от осколков стекла и ржавых гвоздей, жила в подвале на Мишн-стрит, в квартале, где когда-то продавали тако и дешевое пиво, а теперь стояли закрытые ставни и пахло мочой и мокрым картоном. Она отказалась от чипа в двадцать один год, в день, когда ее мать умерла в хосписе, подключенная к капельнице с обезболивающим и к «Каскаду» — умерла с улыбкой, не понимая, что умирает, и это было последней каплей для Элизабет, потому что она хотела видеть смерть, а не ее цифровую имитацию. С тех пор прошло тринадцать лет, и все эти годы она училась заново: заново чувствовать боль, заново бояться, заново ненавидеть и любить без анестезии, и иногда, по ночам, когда дождь барабанил по железному навесу над входом в подвал, она лежала на продавленном матрасе, смотрела в потолок, покрытый плесенью, и спрашивала себя, не ошиблась ли она тогда, в тот день, когда сняла с себя белый больничный браслет и вышла на улицу, где мир вдруг стал слишком громким, слишком ярким, слишком колючим.

Дверь скрипнула, и в подвал, оставляя за собой запах озона и дешевого табака, вошел Маркус Уэллс — сорок два года, бывший инженер «Каскада», а теперь один из немногих, кто знал систему изнутри и все равно предпочел снаружи. Его лицо было худым, с глубокими носогубными складками, а левая рука слегка подрагивала — последствие аварии, в которой погибла его жена, и последствие чипа, который он вырвал из себя сам, обычным кухонным ножом, потому что не мог больше выносить, как система глушит его горе, превращая его в мягкое,

пушистое, ни к чему не обязывающее облако. Он закрыл за собой дверь, прислонился к ней спиной, постоял секунду, вдыхая спертый воздух подвала, и только потом заговорил — тихо, с хрипотцой, которая появлялась у него всегда, когда он волновался.

— Элизабет, — сказал он, и ее имя прозвучало в тишине, как камень, брошенный в стоячую воду, — они закрыли нижний рынок. Тот, где мы брали воду и консервы. Патрули стоят на каждом углу, у них новые сканеры, они проверяют сетчатку и температуру тела, и если ты не в базе «Каскада» — тебя отправляют в центр перераспределения. Я видел, как они забрали старика Харрисона. Он шел с бутылкой воды, споткнулся, упал, и они подняли его, как мешок с мусором, и увезли в белом фургоне, а он даже не кричал, потому что у него не было сил кричать.

Элизабет сидела на матрасе, поджав ноги, и медленно перебирала в пальцах кусок провода, который нашла вчера в мусорном баке за домом; провод был мягкий, гибкий, и она сгибала его так и этак, чувствуя, как металл пружинит под кожей, как он холоден, как он реален. Она подняла глаза на Маркуса, и в ее взгляде не было страха — только усталость, густая, как патока, и что-то еще, похожее на злость, которую она давно научилась прятать глубоко внутри, потому что злость отнимает силы, а силы нужны были для другого.

— Харрисон, — повторила она, и голос ее дрогнул, потому что она знала этого старика, он жил на соседней улице, он всегда угощал ее леденцами, когда она была маленькой, и его руки пахли табаком и машинным маслом, — он не был убогим. У него был чип. Он просто… он просто отключил подписку. Ему не хватало денег. Он говорил, что лучше уж так, чем в долговую яму.

Маркус отошел от двери, сел на перевернутое ведро, которое служило ему стулом, и потер ладонями лицо — медленно, с нажимом, так, будто хотел стереть с себя не только грязь, но и все, что он видел за последние сутки. В подвале было тихо, только где-то капала вода, и каждый звук — кап, кап, кап — падал в эту тишину, как монета в жестяную кружку, и от этого становилось только тошнее.

— Это не имеет значения, — сказал он наконец, и его голос был ровным, почти безжизненным, как у человека, который слишком долго смотрел на что-то ужасное и перестал удивляться. — Для них имеет значение только одно: ты в системе или ты вне системы. Убогий ты или счастливый — это их не волнует. Они не делают различий. Они просто чистят город. «Каскад» перегружен, ты же знаешь. Слишком много отказов, слишком много сбоев, слишком много людей, которые не могут платить за обновления. И вместо того чтобы чинить систему, они решили чинить людей. Убирать лишних.

Элизабет встала, и матрас под ней скрипнул, как старое седло; она подошла к маленькому столу, сколоченному из досок, на котором стояла банка с водой и лежала коробка спичек, и взяла спичку — просто так, чтобы чем-то занять руки. Спичка была шершавая, с неровным концом, и она провела ею по большому пальцу, чувствуя, как дерево царапает кожу, и это ощущение было приятным, потому что оно было настоящим, потому что оно не приходило извне, из чипа, из «Каскада», из ниоткуда, а рождалось здесь, в ее теле, в ее пальцах, в ее крови.

— Значит, они решили, что мы лишние, — сказала она, и в ее голосе появилась та самая злость, которую она так долго прятала, — мы, те, кто отказался, те, кто не может, те, кто не хочет. Они решили, что мы — ошибка, которую надо исправить. А знаешь, что самое страшное,

Маркус? Самое страшное — это то, что они, возможно, правы. Мы страдаем. Мы голодаем. Мы живем в дерьме. И мы не можем дать им ничего, кроме проблем. Может, действительно проще нас убрать.

Маркус поднял голову, и в его глазах — усталых, красных, с темными кругами, которые не сходили уже которую неделю, — не вспыхнуло ничего. Ни гнева, ни протеста, ни той упрямой искры, которой так хотелось бы верить. Только пустота, ровная и гладкая, как бетонный пол под его ногами, и эта пустота была страшнее любой истерики, потому что она означала, что он уже все понял — понял давно, может быть, еще тогда, когда вырывал чип из собственного черепа кухонным ножом, стоя над раковиной, залитой кровью, и смотрел, как вода смывает розовые струйки в слив. Он посмотрел на Элизабет долгим, тяжелым взглядом, и в этом взгляде не было ни жалости, ни нежности, ни желания утешить — только усталое, тупое, животное признание того, что они оба давно знали, но гнали от себя, как гонят прочь навязчивую мысль о собственной смерти.

— Ты права, — сказал он, и голос его был ровным, почти безжизненным, как у человека, который слишком долго смотрел на что-то ужасное и перестал удивляться. — Ты права, Элизабет. Мы — ошибка. Мы — сбой в системе. И они исправят нас. Не потому, что они злые, а потому, что они — порядок. А мы — хаос. Мы — грязь, которую надо вычистить. И знаешь, что самое смешное? Они даже не ненавидят нас. Они просто делают свою работу. Как дворники. Как санитары. Как те, кто убирает мусор.

Слова падали в тишину подвала, как камни в колодец — тяжело, глухо, без эха, и Элизабет почувствовала, как что-то внутри нее сжимается, скукоживается, гаснет, будто кто-то невидимый задул последнюю спичку в темной комнате. Она открыла рот, чтобы что-то сказать — что-то протестующее, что-то живое, — но из горла вырвался только сухой, сиплый выдох, и она замолчала, потому что говорить было нечего, потому что все слова, которые она знала, все доводы, все аргументы, все мольбы — все это разбивалось о ровную, сытую, безразличную стену «Каскада», о его вышки, о его серверы, о его белые фургоны, о его людей с чипами, которые не слышали, не видели, не понимали, потому что им было хорошо, потому что им всегда было хорошо, и это «хорошо» было глухим, как вата, и твердым, как бетон.

Маркус встал с перевернутого ведра, и оно скрипнуло под ним, царапнув бетон, и этот звук — резкий, металлический, короткий — резанул по нервам, как лезвие по стеклу. Он прошел к двери, взялся за ручку — холодную, влажную, покрытую слоем ржавчины, — и на секунду замер, не оборачиваясь, глядя на дверное полотно, исчерченное царапинами и старыми надписями, оставленными прежними жильцами этого подвала, людьми, которых уже давно нет, которых, может быть, тоже увезли в белых фургонах, и никто не помнит их имен, никто не помнит, что они когда-то дышали, любили, боялись, надеялись. Его пальцы сжались на ручке так, что побелели костяшки, и Элизабет увидела, как по его спине — худой, сутулой, под тонкой, засаленной курткой — пробежала мелкая дрожь, будто он замерз, хотя в подвале было душно и влажно, и воздух стоял тяжелый, как мокрое одеяло.

— Я уйду сегодня, — сказал он, не поворачивая головы, и голос его был тихим, почти шепотом, но в этом шепоте не было ни решимости, ни надежды — только усталая, обреченная констатация факта, как у человека, который сообщает о своей неизлечимой болезни. — Не через тоннели. Не в Окленд. Там нет никаких людей. Там давно никого нет. Я знаю это, Элизабет. Я проверял. Я ходил туда три месяца назад, и я видел только пустые дома, разбитые окна и собак, которые жрут друг друга. Никто нас не ждет. Никто нам не поможет. Мы — одни. Мы всегда были одни. И будем одни до самого конца.

Элизабет смотрела на его спину, на его худые, острые лопатки, проступающие сквозь ткань, и чувствовала, как в груди разрастается что-то тяжелое, свинцовое, холодное, что-то, что давит на ребра изнутри, мешая дышать, мешая думать, мешая жить. Она хотела встать,

хотела подойти к нему, хотела обнять его, прижаться к нему, почувствовать его тепло, его запах — табак, пот, озон, — но тело не слушалось, тело было чужим, тяжелым, как мокрый песок, и она осталась сидеть на матрасе, глядя, как он стоит у двери, и как его пальцы медленно разжимаются, отпуская ручку, и как он опускает руку, и как его плечи — узкие, усталые, сломанные — опускаются еще ниже, будто на них легла вся тяжесть этого города, всего этого проклятого, сытого, цифрового мира.

— А что будет со мной? — спросила она, и голос ее прозвучал жалко, тонко, по-детски, и она сама услышала эту жалкость, и ей стало стыдно, и стыд этот был горячим, как кипяток, и он разлился по щекам, по шее, по груди, и она опустила глаза, потому что не хотела, чтобы он видел ее такой — слабой, беспомощной, умоляющей, как собака, которую бросили на дороге. — Что будет со мной, Маркус? Ты уйдешь, и я останусь здесь одна. И они придут. Они придут за мной, и я даже не смогу убежать, потому что у меня нет сил, потому что я не ела три дня, потому что у меня кружится голова, и я падаю, когда встаю слишком быстро.

Маркус обернулся, и его лицо — худое, серое, с глубокими морщинами у рта и запавшими щеками — было спокойным, слишком спокойным, и это спокойствие было хуже любой гримасы ужаса, потому что оно означало, что он уже смирился, уже принял, уже умер внутри, и теперь снаружи умирало только тело, медленно, тихо, без борьбы. Он смотрел на нее, и в его глазах не было ничего — ни вины, ни боли, ни сострадания, — только та самая пустота, ровная и гладкая, как бетонный пол, и Элизабет вдруг поняла, что он не бросит ее, потому что бросить — это поступок, это решение, это воля, а у него не было ни воли, ни решения, ни поступка; он просто уходил, как уходит вода из треснувшего сосуда, как уходит тепло из остывающего тела, как уходит жизнь из человека, который перестал хотеть жить.

— Ты останешься, — сказал он, и это было не предложение, не приказ, не просьба — просто констатация, сухая и мертвая, как строчка в медицинской карте. — Ты останешься здесь, и они придут, и ты не будешь сопротивляться, потому что сопротивляться бессмысленно. Они сделают тебе укол, и ты уснешь, и тебе будет хорошо, Элизабет. Тебе будет так хорошо, как никогда не было. Они не будут тебя мучить. Они не звери. Они просто уберут тебя, как убирают мусор, и ты даже не почувствуешь. А я уйду. Я дойду до моста, и я посмотрю на воду, и я, наверное, прыгну, потому что вода — это единственное, что осталось настоящего в этом городе. Вода холодная. Вода мокрая. Вода убивает. Это честно.

Он замолчал, и в тишине стало слышно, как капает вода — кап, кап, кап, — и этот звук был единственным живым звуком в этом подвале, единственным доказательством того, что время еще идет, что мир еще существует, что где-то там, наверху, продолжается жизнь — сытая, улыбающаяся, цифровая, — и эта жизнь не знала и не хотела знать о двух убогих людях, которые сидели в бетонной коробке и ждали конца, каждый своего, и концы эти были разными, но одинаково бессмысленными. Элизабет хотела заплакать, но слез не было — только сухая, горячая резь в глазах, будто кто-то насыпал туда песка, и она терла глаза кулаками, и песок этот — или что это было — только сильнее впивался в веки, и она перестала тереть, и просто сидела, глядя в стену, на которой плесень рисовала причудливые узоры, похожие на карты чужих земель, на которых им никогда не бывать.

— Я не хочу умирать, — сказала она наконец, и это было так просто, так по-детски, так честно, что Маркус вздрогнул, как от удара, — но не потому, что ему стало жаль ее, а потому, что он вспомнил, как сам говорил эти же слова — давно, в другой жизни, когда еще была жива жена, когда еще был дом, когда еще был смысл, — и вспомнил, как никто не услышал его, никто не пришел, никто не спас, и как он остался один со своим «не хочу умирать», и это «не хочу» никого не тронуло, потому что мир не слушает тех, кто не хочет, мир слушает только тех, кто может, а они не могли, они никогда не могли, они были никем, они были ничем, они были ошибкой, которую надо исправить.

— Я знаю, — сказал он, и в его голосе не было утешения, только усталое, тупое признание. — Я тоже не хотел. Тринадцать лет не хотел. Каждое утро просыпался и не хотел. Каждый вечер ложился и не хотел. И что? И ничего. Мир не заметил. Мир даже не обернулся. Потому что мир — это «Каскад», а «Каскад» — это не мир, это машина, а машина не умеет хотеть или не хотеть, она умеет только работать, и она работает, Элизабет, она работает без остановки, без жалости, без злобы, и она перемелет нас, как мелет зерно, и из нас сделают муку, и из муки сделают хлеб, и этот хлеб съедят другие, сытые, счастливые, с чипами в головах, и они даже не подавятся, потому что не узнают, что в этом хлебе — мы.

Он подошел к ней, и она подняла голову, и он посмотрел на нее сверху вниз, и его тень — длинная, уродливая, дрожащая в свете тусклой лампочки, висевшей под потолком, — накрыла ее, как саван. Он протянул руку, и она взяла ее, и его ладонь была холодной, сухой, жесткой, и в этой ладони не было тепла, не было жизни, не было ничего, что могло бы согреть, — только кожа и кости, только плоть, которая тоже скоро станет прахом, потому что все становится прахом, и они тоже станут, и никто не вспомнит, никто не заплачет, никто не поставит свечку, потому что убогих не хоронят, убогих перерабатывают, и память о них стирают вместе с их телами, и это — конец, настоящий конец, без продолжения, без надежды, без воскрешения.

— Прощай, — сказал он, и отпустил ее руку, и его пальцы скользнули по ее пальцам, медленно, как вода по камню, и она почувствовала, как что-то внутри нее обрывается — тихо, почти беззвучно, как обрывается нитка, натянутая слишком сильно, — и она осталась сидеть на матрасе, одна, в темноте, в холоде, в тишине, и смотрела, как он идет к двери, как открывает ее, как выходит, как закрывает за собой, и как щелкает замок — сухо, коротко, окончательно, — и как шаги его удаляются, стихают, исчезают, и как наступает полная, абсолютная, безжалостная тишина, в которой слышно только кап, кап, кап, и это капает вода, и это капает время, и это капает жизнь, уходящая сквозь пальцы, как песок, как кровь, как все, что было и не будет.

Элизабет сидела и слушала тишину, и тишина была огромной, как океан, и она тонула в ней, медленно, без всплеска, без крика, без борьбы, потому что бороться было не с кем и не за что, потому что враг был не человек, а система, а система — это не злодей, это порядок, это алгоритм, это математика, и против математики не попрешь, против математики не выстоишь, математика всегда права, математика всегда побеждает, и она победила, и победит снова, и будет побеждать всегда, пока есть люди, которые хотят быть счастливыми, а люди всегда хотят быть счастливыми, всегда, во все времена, любой ценой, даже ценой чужой жизни, даже ценой собственной души.

Она легла на матрас, и матрас был сырой, холодный, пропитанный запахом плесени и старой мочи, и она закрыла глаза, и представила, что она — не она, а кто-то другой, кто-то, кто живет в другом мире, где нет «Каскада», где нет чипов, где нет белых фургонов, где дети смеются, и взрослые плачут, и старики умирают дома, в постели, окруженные близкими, а не в белом фургоне, не в центре перераспределения, не в одиночестве. Она представила этот мир, и он был прекрасен, и он был ложью, и она знала, что это ложь, и все равно держалась за нее, как держится утопающий за соломинку, потому что соломинка — это все, что у нее осталось, потому что реальность была слишком страшной, чтобы смотреть ей в глаза, потому что реальность была — белый фургон, укол, сон, и ничего больше, и ничего после.

Где-то наверху, на улице, проехала машина — не белый фургон, а обычная машина, с музыкой, с мягким басом, который проникал сквозь бетонные стены и отдавался в груди, как чужое сердцебиение, — и Элизабет слушала этот бас, и думала о том, что где-то там, в этом мире, есть люди, которые слушают музыку, и едят пиццу, и целуются в парках, и смеются над шутками, и планируют отпуск, и выбирают обои для детской, и спорят о политике, и жалуются на пробки, — и все это было так далеко, так недосягаемо, так невозможно, как луна, как звезды, как прошлая жизнь, которая никогда не вернется. Она лежала и слушала, и бас стих, и машина уехала, и снова наступила тишина, и в этой тишине она услышала другой звук — далекий,

низкий, ровный, — и это был гул «Каскада», гул вышек, гул серверов, гул системы, которая работала, работала, работала, перемалывая людей в счастье, и она слушала этот гул, и он был везде, он был в стенах, в воздухе, в костях, в крови, и от него нельзя было спрятаться, нельзя было убежать, нельзя было спастись, потому что он был везде, потому что он был всем, потому что он был — мир.

Элизабет открыла глаза, и посмотрела в потолок, покрытый плесенью, и плесень рисовала узоры, похожие на карты чужих земель, на которых ей никогда не бывать, и она смотрела на эти узоры, и ждала, и ждала, и ждала, и где-то в глубине души — там, где еще теплилась жизнь, где еще билось что-то слабое, тонкое, почти погасшее, — она знала, что ждать осталось недолго, что белый фургон уже едет, что сканеры уже ищут ее сетчатку, ее температуру, ее дыхание, и что скоро все кончится, и кончится плохо, и кончится навсегда, и никто не вспомнит, никто не заплачет, никто не скажет: «Здесь жила Элизабет Коннорс, она отказалась от чипа, она хотела чувствовать реальность, и она чувствовала ее до самого конца».

А гул «Каскада» продолжал расти, ровный, сытый, безжалостный, и в этом гуле тонули все звуки, все голоса, все крики, все мольбы, и город Сан-Франциско спал и не спал одновременно, улыбаясь во сне, и его улыбка была цифровой, и его сон был цифровым, и его жизнь была цифровой, и в этой цифровой жизни не было места для убогих, для ошибок, для сбоев, для тех, кто отказался, кто не смог, кто не захотел, — и система, великая и ужасная в своем равнодушии, продолжала работать, продолжала чистить, продолжала исправлять, и она исправит, она обязательно исправит, потому что иначе быть не может, потому что порядок всегда побеждает хаос, потому что математика всегда права, и потому что счастье — это когда всем хорошо, а если кому-то плохо, то этого кого-то надо убрать, и его уберут, и всем снова станет хорошо, и никто даже не заметит, что кого-то не стало, потому что заметить — это значит помнить, а помнить — это больно, а больно никому не нужно, потому что все хотят быть счастливыми, и они будут счастливыми, чего бы это ни стоило, и они уже счастливы, и они всегда будут счастливы, и это — конец.

Кап. Кап. Кап.

4 - нулевой аркан

Тишина в клинике Святого Иуды всегда пахла по-разному. Днём — хлоркой и приторным антисептиком, что забивался в носоглотку липким одеялом, а по ночам, когда коридоры пустели и оставались лишь дежурные сестры да тусклый свет ламп, она приобретала запах старого линолеума и чьей-то застарелой боли, въевшейся в стены. Для Дэвида Харпера, интерна третьего года, эта ночная смена ничем не отличалась от сотни предыдущих. Разве что усталость давила на плечи свинцовой плитой, а кофе в автомате на третьем этаже закончился ещё в полночь.

Всё началось с пациента в боксе номер семь. Мужчина лет пятидесяти, с лихорадкой неизвестного генеза и странной сыпью, что напоминала карту звёздного неба — багровые точки, разбросанные по бледной коже. Дэвид зашёл проверить капельницу, поправил одеяло, коснулся лба больного тыльной стороной ладони. Жар был обжигающим, почти неестественным. В этот момент мужчина открыл глаза, мутные, полные какой-то животной тоски, и схватил Дэвида за запястье. Хватка была неожиданно сильной.

— Не оставляй меня в темноте, — прошептал он, и дыхание его пахло медью и чем-то сладковатым, тошнотворным.

Дэвид высвободил руку, пробормотал что-то успокаивающее и вышел в коридор. На запястье остался неровный след от ногтей. Он не придал этому значения. Через шесть часов его начало знобить.

Первые симптомы он списал на переутомление. Озноб, ломота в суставах, странная тяжесть в груди, будто кто-то положил на рёбра мешок с песком. К утру температура подскочила до тридцати девяти, и дежурный врач, взглянув на него поверх очков, нахмурился.

— Ты выглядишь как дерьмо, Харпер. Иди домой, отлежись.

Домой он не дошёл. В ординаторской, где пахло застоявшимся табаком и старыми журналами, его настиг приступ кашля. Сначала сухой, лающий, а потом — с мокротой, густой и тёмной, как нефть. В ней были прожилки крови. Дэвид смотрел на салфетку в своей руке, и мир вокруг сужался до размеров этой алой нити на белом фоне. Потом пришла слабость. Колени подкосились, пол взметнулся навстречу, и он успел почувствовать только холод линолеума, прежде чем тьма сомкнулась вокруг.

Очнулся он в боксе интенсивной терапии. За стеклянной перегородкой, покрытой мелкими каплями конденсата, маячили фигуры в жёлтых защитных костюмах. Звуки доходили приглушённо, будто через вату. Писк кардиомонитора, шипение аппарата искусственной вентиляции лёгких, чей-то голос, искажённый респиратором, отдающий металлом и пластиком. Дэвид попытался поднять руку, но конечности налились свинцом. Трубки, катетеры, иглы — он сам стал частью этого стерильного механизма, винтиком в машине, которая качала воздух в его лёгкие и отфильтровывала кровь.

Диагноз пришёл на третий день. Неизвестный патоген, не поддающийся идентификации. Ни бактерия, ни известный вирус, ни грибок. Что-то новое, что пожирало его изнутри, превращая ткани в желе, а кровь — в тёмную воду. Изоляция. Карантин. Клиника Святого Иуды закрыта на въезд и выезд. Персонал в панике, но держится. Дэвид слышал через стекло обрывки фраз, видел, как медсестра, та самая, что приносила ему кофе, теперь стояла у его палаты и плакала, прижав ладонь к прозрачной перегородке. Её звали Сара. У неё были рыжие волосы, и она пахла корицей.

На пятый день ему принесли планшет. Стекло экрана было холодным, гладким, единственная вещь в этом мире, которая поддавалась его воле. Он мог писать. Пальцы дрожали, но буквы складывались в слова, слова — в предложения, и это стало его единственной связью с реальностью. Так начался дневник.

Запись первая. День седьмой.

Сегодня мне сказали, что я — «нулевой пациент». Нулевой. Как будто до меня ничего не существовало, как будто я — пустота, из которой выползло это нечто. Слово пахнет металлом и страхом. Я лежу здесь, в стеклянной коробке, и смотрю на мир через мутную плёнку своего собственного дыхания. Грудь болит так, будто внутри неё поселился зверь, который скребёт когтями по рёбрам, требуя выхода. Каждый вдох — это борьба. Каждый выдох — это маленькая смерть. Я чувствую, как что-то чужое движется по моим венам, разносится с кровью, оседает в тканях. Оно не спрашивает разрешения. Оно просто живёт, а я — его дом.

Был ли я шутом? Случайной жертвой, что просто оказалась не в том месте, не в то время? Или арканом — первым, кто открыл дверь, через которую хлынула зараза? Эта мысль не даёт мне покоя. Она сверлит мозг, как бормашина, и я не знаю, что хуже: умереть от этой дряни или умереть с осознанием, что я — её начало. Что моя смерть — не конец, а только прелюдия. Сара говорит, что я не виноват. Но откуда ей знать? Откуда кому-либо знать, что скрывается в тёмных углах вселенной, что ждёт своего часа, чтобы вырваться наружу?

Кашель разрывает горло изнутри. Вкус крови на языке — солёный, тёплый, знакомый. Я слышу, как аппарат качает воздух. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Механический ритм, который заменяет мне жизнь. За стеклом — тишина. Там, снаружи, люди в костюмах, они смотрят на меня, как на экспонат, как на ошибку природы. Я вижу их глаза через пластиковые щитки. В них — страх. И жалость. Жалость — это самое худшее. Она унижает.

Сегодня я попытался вспомнить своё лицо. Не могу. Оно расплывается, как отражение в воде. Кто я? Доктор Дэвид Харпер, тридцать один год, выпускник медицинской школы Джонса Хопкинса, любитель бейсбола и плохих комедий. Или уже нет? Или я — просто носитель? Сосуд для чего-то, что не имеет имени?

Я хочу, чтобы это закончилось. Но я боюсь, что если закончится — начнётся что-то другое. Что-то, что будет длиться дольше меня.

Дни сливались в один непрерывный поток боли и бреда. Реальность путалась с галлюцинациями. Дэвид видел лица в трещинах на потолке, слышал шёпот в шуме вентиляции. Ему казалось, что стены дышат, что линолеум под кроватью становится мягким, как плоть. Температура скакала, то поднимаясь до сорока, то падая до тридцати пяти. Тело становилось чужим. Кожа покрылась тёмными пятнами, похожими на синяки, но глубже, до кости. Волосы выпадали клочьями на подушку. Он перестал узнавать своё отражение в тёмном экране планшета.

Сара приходила каждый день. Она не могла войти, но стояла за стеклом, прижимала ладонь к прозрачной поверхности, и Дэвид делал то же самое. Их руки разделяли сантиметры пластика и целая вселенная страха. Она писала ему записки маркером на стекле. Кривые буквы, зеркальные отражения. *«Держись. Мы найдём лекарство»*. Он улыбался, хотя улыбка больше походила на гримасу. Он знал, что не найдёт. Слишком мало времени. Слишком мало данных.

На десятый день он начал писать вторую запись.

Запись вторая. День двенадцатый.

Сегодня я понял, что умираю. Не в том смысле, что все мы смертны, а в самом прямом, физическом. Врачи говорят, что мои лёгкие заполнены жидкостью на семьдесят процентов. Сердце работает на пределе. Печень отказала два дня назад. Я чувствую, как тело разлагается изнутри, как оно превращается в компост для этого чужого. Но знаешь, что странно? Я не чувствую боли. Только усталость. Такую глубокую, что даже страх уходит на второй план. Остаётся только любопытство. Что будет дальше?

Аркан. Это слово не выходит из головы. В Таро нулевой аркан — это Шут. Он идёт по краю пропасти, не зная, что его ждёт. Он — начало пути, чистый лист, потенциал. Но что, если Шут не просто идёт, а падает? Что, если его шаг с обрыва — это не ошибка, а жертва? Что, если я — не случайная жертва, а тот, кто должен был упасть, чтобы другие увидели край?

Я думаю о Саре. О её рыжих волосах, что пахнут корицей. О том, как она смеялась, когда я рассказывал ей глупые истории из интернатуры. О том, как она смотрит на меня сейчас — сквозь стекло, с этой бесконечной нежностью, которая разрывает мне сердце. Я хочу, чтобы она жила. Я хочу, чтобы все они жили. Если моя смерть что-то значит, пусть это будет так. Пусть мой дневник станет картой. Пусть кто-то прочтёт его и найдёт то, что я не успел.

Сегодня я чувствую запах. Не хлорки, не антисептика. Запах земли. Мокрой, тёплой земли, как после дождя. Мне кажется, что это запах могилы. Или, может быть, запах начала. Я не знаю. Грань стирается.

Я пишу это, и пальцы оставляют кровавые отпечатки на экране. Каждая буква — это усилие. Каждое слово — это маленькая победа. Я не сдамся, пока могу держать планшет. Я буду писать, пока есть что сказать.

К четырнадцатому дню Дэвид перестал вставать. Тело отказывалось служить, мышцы атрофировались, кожа стала прозрачной, как пергамент. Он лежал на кровати, окружённый трубками и проводами, и смотрел в потолок. Там, в белизне панелей, ему виделись сны. Яркие, цветные, полные жизни. Он бежал по пляжу, и песок был тёплым, а солнце — ласковым. Он чувствовал вкус соли на губах и смеялся. А потом просыпался, и реальность обрушивалась на него бетонной плитой.

Вентиляция гудела. Монитор пищал. Капельница отсчитывала капли. Дэвид слушал эти звуки и пытался найти в них ритм. Что-то, за что можно зацепиться. Он думал о своей матери, что умерла от рака, когда ему было двенадцать. О том, как она держала его за руку в последние минуты и говорила, что всё будет хорошо. Он не верил ей тогда. Теперь верил. Всё действительно будет хорошо. Просто не для него.

На шестнадцатый день он попросил Сару принести ему бумагу. Настоящую, не экран. Он хотел чувствовать под пальцами текстуру, хотел, чтобы чернила впитывались в волокна, как кровь в ткань. Она принесла блокнот и ручку, оставила на столике у стекла. Медсестра в костюме передала их через шлюз. Дэвид взял ручку. Она была тяжёлой, холодной. Он открыл блокнот на первой странице и начал писать. Медленно, криво, но свои.

День восемнадцатый.

Я больше не чувствую ног. Руки ещё слушаются, но слабо. Скоро я не смогу писать. Поэтому это, возможно, последняя запись. Или предпоследняя. Я не знаю, сколько мне осталось. Часы на стене идут, но время для меня остановилось. Я существую в вакууме, в промежутке между вдохом и выдохом. Между жизнью и смертью.

Хочу сказать тебе, Сара. Ты держала меня за руку через стекло. Ты не могла дотронуться до меня, но я чувствовал твоё тепло. Оно было сильнее лихорадки. Ты плакала, и я видел, как слёзы оставляют дорожки на твоих щеках. Я хотел стереть их, но не мог. Я хотел сказать, что всё в порядке. Что я не боюсь. Но это ложь. Я боюсь. Боюсь исчезнуть. Боюсь, что всё, что я делал, всё, что я любил, растворится в пустоте. Боюсь, что мой дневник — это просто бумага, которую кто-то выбросит.

Но потом я думаю: а что, если нет? Что, если кто-то найдёт эти записи? Что, если через год, через пять, через десять лет кто-то прочтёт их и поймёт? Я не хочу быть героем.

Я не хочу быть мучеником. Я просто хочу, чтобы моя смерть что-то значила. Чтобы я не был просто нулём. Пустотой. Чтобы я был началом. Не концом.

Я думаю о Шуте. Он идёт по краю. Он не знает, куда идёт. Но он идёт. И, может быть, его падение — это не конец пути, а начало другого. Может быть, я — не жертва. Может быть, я — первый шаг. Первый аркан. Начало колоды. Без меня не было бы остальных карт. Без моей смерти не было бы их жизни.

Сегодня я слышал, как аппарат издал другой звук. Или мне показалось. Я чувствую, как что-то меняется. Не во мне — вокруг. В воздухе. В запахе. Пахнет не землёй. Пахнет озоном, как перед грозой. Что-то надвигается. Что-то большее, чем я. Я не знаю, что это. Но я чувствую, что это связано со мной.

Прости меня, Сара. За то, что оставляю тебя. За то, что не смог уберечь. За то, что был слабым. Но я пытался. Я пытался понять. И если мои записи помогут — значит, я не зря жил. Значит, я был не просто ошибкой. Я был началом.

Осталось так мало. Я вижу свет. Не тот, что за стеклом. Другой. Тёплый, золотой. Как пляж из моего сна. Как солнце. Как твои волосы. Я иду туда. Не бойся. Я не боюсь.

Ручка выпала из ослабевших пальцев и покатилась по полу. Дэвид закрыл глаза. Грудь поднялась в последнем вдохе, медленном, хриплом, полном боли. Монитор пискнул и замолчал. В коридоре зазвенел сигнал тревоги. Сара бросилась к стеклу, прижалась к нему лбом, закричала. Но Дэвид уже не слышал. Он ушёл. Туда, где нет боли. Туда, где нет страха. Туда, где он снова целый.

Прошло десять лет. Клиника Святого Иуды давно закрылась, а здание снесли, оставив пустырь, заросший сорняками. Пандемия, начавшаяся с Дэвида Харпера, унесла тысячи жизней, но потом отступила. Вирус мутировал, стал слабее, но всё ещё жил в крови некоторых носителей, как тлеющий уголёк. Учёные бились над вакциной, но всё безуспешно. Пока в архивах старого госпиталя не нашли коробку с вещами, которые так и не вернули родственникам. Внутри лежал блокнот. Потрёпанный, с пятнами плесени, но страницы сохранились. Почерк был неровным, но разборчивым.

Доктор Эмилия Родригес, вирусолог из Центра контроля заболеваний в Атланте, читала эти записи всю ночь. Она не могла оторваться. Слова Дэвида Харпера, его боль, его страх, его надежда — всё это было живым, пульсирующим, настоящим. В его описаниях симптомов она нашла то, что упустили все остальные. Последовательность, структуру, слабое место вируса. То, что он видел изнутри, чего не могли увидеть приборы. Его тело было картой, а его слова — ключом.

Через год вакцина была создана. На основе его записей. На основе его смерти. На основе его жизни. В пресс-релизе Эмилия написала: *«Мы обязаны этим открытием доктору Дэвиду Харперу, который пожертвовал собой ради будущего. Его дневник стал не просто историей болезни. Он стал началом нашего спасения».*

Сара, узнав об этом, приехала в Атланту. Ей было уже сорок, в волосах появилась седина, но глаза остались теми же. Она стояла в лаборатории, смотрела на пробирку с вакциной и плакала. Тихо, беззвучно. Она вспоминала его руки за стеклом. Его улыбку. Его слова, которые он никогда не говорил вслух, но которые она читала в его глазах.

Он был шутом. Случайной жертвой, что оказалась не в том месте. Но он стал арканом. Началом. Первым шагом. Его смерть не была напрасной. Его жизнь не была пустой. Он умер, но остался. В словах. В памяти. В спасённых жизнях. В начале, которое он подарил миру.

Где-то далеко, в тишине, пахнущей озоном и надеждой, Шут сделал свой шаг. И не упал. Он полетел.

5 - волк, коза и капуста

Вонь дешевого бурбона и мокрой шерсти въелась в обои так глубоко, что даже открытые настежь окна в промозглом октябре Огайо не могли выветрить этот запах. Тяжелый, липкий смрад, казалось, сочился из самих стен старого трейлера, смешиваясь с ароматом подгоревшего кофе и сырости, которая неизменно появлялась с первыми заморозками. Холодный сквозняк гулял по тесной кухне, заставляя занавески трепетать, словно призраки, но не приносил облегчения. Напротив Констанс сидела женщина, которую та должна была называть матерью, и её желтые, налитые кровью глаза смотрели на девушку с тем знакомым, тяжелым прищуром, от которого сводило скулы. В её руке, покрытой сеткой лопнувших капилляров, дрожал стакан с янтарной жидкостью, и этот мелкий, дребезжащий звук стекла о стекло был единственным, что нарушало звенящую тишину.

Констанс смотрела на мать и думала о том, что где-то глубоко внутри, под слоем алкоголя и ярости, всё ещё живет та женщина, которая когда-то читала ей перед сном тоненькую книжку с картинками. Книжка была о волке, козе и капусте — старой как мир задаче о переправе, где нельзя оставить определённые элементы вместе, иначе один сожрёт другого. Тогда, в детстве, Констанс хихикала над глупой сказкой, не понимая, что годы спустя она сама окажется внутри этой головоломки, запертой на тесном берегу, где каждый шаг — это выбор между двумя потерями. Мать была волком. Не тем серым разбойником из мультфильмов с большими зубами и смешным хвостом, а настоящей волчицей — голодной, хищной, готовой разорвать собственное дитя ради глотка обжигающей жидкости. Констанс была козой. Упрямой, выносливой, привыкшей карабкаться по крутым склонам, но всё же козой, которую в любой момент могли съесть. А Тимми был капустой. Хрупким ростком, который нужно перевезти через реку, чтобы сохранить.

— Ты меня слышишь, Констанс? — голос матери был хриплым, низким, будто камни перекатывались в жестяном ведре. Она сделала медленный, жадный глоток, и Констанс проследила взглядом за тем, как её кадык дернулся, проталкивая обжигающую жидкость вниз. — Я не собираюсь больше тянуть эту лямку. Твой брат — это твоя ответственность. Или ты бросаешь свою дурацкую учебу и идешь работать полный день, или завтра же его вещи будут стоять на крыльце.

Слова ударили под дых, выбивая остатки воздуха из легких. За стеной, в маленькой комнате, которую Констанс делила с братом, было слышно, как шуршит одеяло. Там, свернувшись калачиком, спал Тимми. Ему было девять. Он был худым, бледным мальчишкой с вечно ободранными коленками и глазами цвета жидкого чая, полными той наивной надежды, которая бывает только у детей, не знавших настоящего горя. Капустой его прозвали ещё в младенчестве, когда он родился таким крошечным и сморщенным, что мать, тогда ещё не окончательно пропавшая в бутылке, сравнила его с кочерыжкой. Прозвище прилипло, обросло лаской и привычкой, и вскоре уже все в семье — и сама Констанс, и даже соседи, заглядывавшие изредка в трейлер, — называли мальчика не иначе как Капуста. Это было нежное, теплое слово, в котором слышалось что-то домашнее, что-то из тех времен, когда в доме ещё смеялись и готовили на ужин что-то кроме разогретых полуфабрикатов. Он был капустой. Нежным, хрустящим ростком, который так легко растоптать, который нуждается в защите от холода и хищников. И сейчас хищник, сидящий напротив, требовал плату за его сохранность.

Мои пальцы вцепились в край деревянного стола, ногти побелели, впиваясь в поцарапанную столешницу. Я чувствовала, как пульс бьется в висках, отдаваясь глухим гулом в ушах. Университет. Это было единственное окно в другой мир, единственная нить, связывающая меня с жизнью, где не пахнет перегаром, где люди не кричат по ночам и где можно мечтать о чем-то, кроме следующей бутылки. Стипендия, подработка в библиотеке, ночные зубрежки — я строила этот мост из соломинок долгие годы, и теперь его требовали сжечь одним пинком.

— Мам, пожалуйста, — прошептала Констанс, и голос её сорвался на хрип, больше похожий на скрип несмазанной двери. В горле пересохло, язык прилип к небу. — Остался всего год. Всего один год до диплома. Я смогу найти хорошую работу, мы переедем...

— Мне плевать на твои фантазии! — рявкнула мать, и стакан с силой опустился на стол. Бурбон выплеснулся через край, образовав липкую лужу, которая медленно поползла к краю, угрожая капнуть на пол. Запах алкоголя стал невыносимым, резким, он разъедал глаза, вызывая жгучие, злые слезы. — Сейчас. Мне нужно сейчас. Или ты думаешь, что я буду работать за гроши, пока ты играешь в студентку? Капуста не будет ждать. Он сгниет на улице.

Она всегда называла его так. Капуста. Без имени, без души. Просто объект, который нужно перевезти через реку, чтобы не съесть. И Констанс, коза, стояла перед выбором: перевезти его и остаться с волком, или бросить. В детской сказке коза всегда перевозила капусту, оставляя волка на берегу, и всё заканчивалось хорошо. В детской сказке был правильный ответ. Но в реальности правильных ходов не существовало. Только выбор между двумя видами боли. Мать-волчица не просто хотела выпить — она хотела власти, контроля, подтверждения того, что даже её собственная дочь не сможет вырваться из этого болота. А Констанс, коза, могла лишь смотреть в жёлтые глаза хищника и чувствовать, как её собственные рога, некогда острые и крепкие, превращаются в мягкие, бесполезные отростки.

Девушка смотрела на неё, на этот сгусток агрессии и зависимости, на женщину, которая когда-то пела ей колыбельные, а теперь готова была вышвырнуть своего сына на улицу ради бутылки. И Констанс сдалась. Не с треском, не с криком, а тихо, как сдается старый дом, когда из него уходит тепло. Плечи опустились, спина согнулась под тяжестью невидимого груза.

— Хорошо, — выдохнула она, и этот звук показался ей чужим, будто говорил кто-то другой, стоящий за спиной. — Я брошу учебу. Я пойду работать в закусочную на полную ставку. Только не трогай Тимми.

Улыбка, искривившая губы матери, была торжествующей и жалкой одновременно. Она снова взяла стакан, уже не дрожащей рукой, и осушила его до дна. В её глазах промелькнула тень удовлетворения, сытого, ленивого удовлетворения хищника, который загнал добычу в угол. В этот момент Констанс поняла, что переправа началась. Она осталась на берегу с волком, отдав ему весло, лишь бы капуста доплыла до другого берега целой. Но она не учла одного: у капусты тоже есть корни, и они тянулись не к свету, а к той же грязи, что питала волка.

Шли годы. Время в этом захолустье текло медленно, как патока, застывающая на холоде. Дни сливались в бесконечную серую череду смен в закусочной «У Рози», где Констанс жарила бургеры, пахла фритюрным маслом и потом, и приносила домой чаевые, которые мгновенно исчезали в бездонном кармане материнской зависимости. Книги по литературе, некогда любимые и зачитанные до дыр, покрылись слоем пыли на верхней полке, и девушка старалась не

смотреть на них, чтобы не чувствовать тупую, ноющую боль под ребрами. Она стала тенью. Коза, которая забыла, как прыгать по скалам, и научилась лишь таскать тяжести.

Тимми рос. Констанс растила его на те деньги, что отдавала ей мать после того, как расплатится с долгами местному барыге. Она покупала ему кроссовки, когда старые разваливались, проверяла его домашние задания, тушила свет, когда он засыпал, чтобы счет за электричество был меньше. В её голове жила картинка: вот он вырастет, уедет в колледж, станет врачом или инженером, и тогда она сможет вздохнуть. Тогда она снова станет собой. Эта мысль была топливом, единственной молитвой в душные ночи, когда из спальни матери доносились пьяные крики и звук бьющейся посуды. Иногда, лежа без сна в темноте, Констанс представляла, что она — та самая коза из детской книжки, которая переплывает реку с капустой на спине, и что где-то там, на другом берегу, её ждёт зелёный луг, солнце и тишина. Но река всё не кончалась, берег не приближался, а волк, оставленный позади, выл всё громче.

Но капуста оказалась не такой, какой Констанс её себе представляла. Она не хотела быть спасенной. Она хотела расти в той же почве, что и волк.

Когда Тимми исполнилось шестнадцать, он вымахал выше сестры на голову. Плечи стали широкими, руки — тяжелыми, а взгляд — колючим. В доме снова запахло бурбоном, но теперь этот запах исходил не только от матери. Сначала это были банки пива, которые он прятал под кроватью. Потом — крепкие напитки, которые он пил прямо из горла, возвращаясь с каких-то темных вечеринок на окраине города. Он перестал разговаривать с Констанс. Её просьбы выключить музыку или не хлопать дверью встречались с глухим рычанием, а иногда и с чем-то более опасным.

Девушка навсегда запомнила тот вечер, когда все треснуло окончательно. Ноябрьский ветер выл в проводах, стучался в окна ледяными пальцами. Констанс вернулась с работы разбитая, с ноющими ногами и запахом лука, въевшимся в кожу. В гостиной горел только торшер, отбрасывая длинные, уродливые тени на стены. На диване сидели двое: мать и Тимми. Перед ними стояла бутылка джина, почти пустая, и два стакана. Они смеялись. Смеялись над чем-то своим, чужим, непонятным, и этот смех был холодным и скользким, как рыба.

Констанс замерла в дверном проеме, чувствуя, как холодный воздух с улицы заползает за шиворот, пробираясь под одежду ледяными пальцами. Перед ней сидели два волка. Один — старый, с потускневшей шерстью и жёлтыми клыками, другой — молодой, сильный, с голодным блеском в глазах. И оба смотрели на неё, козу, с одинаковым выражением — снисходительным, насмешливым, будто она была чем-то само собой разумеющимся, чем-то, что можно использовать и выбросить. В детской сказке волк всегда оставался один. В жизни волки сбивались в стаи.

— А вот и наша работяга, — протянул Тимми, откидываясь на спинку дивана. Голос его ломался, переходя из детского в мужской, но в нем уже звучали те самые нотки — хриплые, презрительные, как у матери. Он смотрел на сестру, и в его глазах не было ни капли той благодарности, которую она ждала все эти годы. Только пустота и превосходство.

— Ты почему не в своей комнате? — спросила Констанс, стараясь, чтобы голос звучал твердо, но внутри все сжалось в комок. Она чувствовала, как по позвоночнику ползет холод, липкий и тяжелый.

— Здесь мой дом, — осклабился он, обнажая зубы. — Или ты забыла, кто тут платит за аренду? Ах да, ты. Ну так плати дальше и не указывай.

Мать хихикнула, прикладываясь к стакану. Её движения стали вялыми, замедленными, как у мухи, попавшей в мед. Она смотрела на них обоих и, казалось, наслаждалась этим моментом, этой перекличкой, этим зарождающимся конфликтом. Волчица вырастила волчонка, и теперь оба они скалились на козу, которая когда-то пыталась их спасти.

— Я не для этого работала, Тимми, — прошептала Констанс, и в груди что-то оборвалось, упало вниз, к самому желудку, оставив после себя звенящую пустоту. — Я бросила колледж ради тебя. Я пожертвовала всем, чтобы ты не оказался на улице.

— Никто тебя не просил, — отрезал он, и слова эти прозвучали как удар хлыста. Он встал, пошатываясь, и шагнул к ней. От него пахло алкоголем и табаком, тем самым запахом, который она ненавидела всей душой, запахом её поражения. — Ты думаешь, я должен целовать тебе руки за то, что ты была мамочкой? Мне это не нужно было. Ты просто неудачница, которая боится выйти из этого трейлера.

Воздух в комнате стал густым, как желе. Констанс смотрела на этого парня, в которого вложила всю свою жизнь, и не узнавала его. Это был не тот мальчик, которого она укрывала одеялом. Это был волк. Молодой, голодный, с теми же повадками, что и старый. Она перевезла капусту через реку, но пока она гребла, та мутировала. Или, может быть, она всегда была такой, просто ждала своего часа. В детской сказке капуста была просто капустой — безмолвным овощем, который нужно спасти. В жизни капуста умела говорить, умела лгать, умела предавать. И теперь она стояла перед ней, эта капуста, с волчьими глазами и волчьим оскалом, и Констанс поняла, что все эти годы спасала не жертву, а хищника.

— Ты стал таким же, как она, — прошептала Констанс, чувствуя, как по щекам текут горячие, обжигающие слезы. Они не приносили облегчения, только жгли кожу. — Я отдала тебе свою мечту, а ты...

— Твоя мечта ничего не стоит! — заорал он, и его крик ударил в стены, отразился от тонких панелей трейлера, заполнил собой все пространство. — Ты никто! Ты просто коза, которая таскает всех на себе, потому что не умеет жить по-другому!

Что-то внутри Констанс щелкнуло. Тонкая, натянутая до предела струна, которая держала её на ногах все эти годы, лопнула. Она перестала чувствовать пол под ногами. Она перестала чувствовать что-либо, кроме огромной, всепоглощающей усталости. Она поняла страшную, простую истину: в этой задаче не было правильного решения. Волк, коза и капуста — это не просто фигуры на берегу. Это были они. И переправа никогда не закончится, потому что берег — это иллюзия. Все они плывут в одной лодке, и лодка эта называется безысходность.

Констанс развернулась и вышла на улицу, в колючий, ледяной ветер. Дверь хлопнула за спиной, отсекая смех матери и тяжелое дыхание брата. Ночной воздух обжег легкие, но она впервые за долгое время смогла вдохнуть полной грудью. Снег еще не выпал, но земля была твердой и холодной, как камень. Она шла по улице, не разбирая дороги, мимо одинаковых трейлеров, мимо заборов, увитых мертвым плющом, и понимала, что пути назад нет.

Дом, в который она вкладывала душу, рухнул. Но, может быть, именно под этими обломками она сможет найти себя настоящую. Ту Констанс, которая когда-то мечтала о большом мире, о книгах, о любви. Ту, которую она похоронила заживо ради того, кто этого не оценил. Больше не будет жертв. Больше не будет переправ. Теперь она будет просто жить. И пусть эта история будет предупреждением всем козам, которые думают, что спасают капусту: иногда капуста гниет изнутри, и спасать там нечего. Иногда нужно просто уйти, оставив волка с его пустой бутылкой и пустой душой.

6 - манифест

В тот вечер воздух в квартире на Бушуик-авеню был тяжёлым и неподвижным. Пахло пылью, старой мебелью и лимонами «Пледж», которыми соседка миссис Гарсиа протирала перила каждую субботу. Этот запах въедался в кожу, напоминал о том, что мир продолжает вращаться, что где-то кто-то всё ещё заботится о чистоте, пока внутри тебя всё покрывается слоем липкой грязи. Двадцать три года. Возраст, когда кости ещё гнутся, а душа уже ломается. Джек сидел на полу, привалившись спиной к кровати, и слушал, как в трубах отопления гудит вода. Это был монотонный, утробный звук — единственное доказательство того, что здание всё ещё живо, что оно дышит, в отличие от него.

Ручка в руке дрожала мелкой, противной дрожью, которая отдавала в предплечье. Дешёвая шариковая ручка, купленная в «Даффис» за три доллара, оставляла на бумаге рваный, синий след. Бумага была не тетрадным листом, а обрывком крафтового пакета, в котором он принёс бутылку дешёвого бурбона. Бутылка стояла там же, у ноги, почти пустая, но опьянение не приходило. Вместо этого была только звенящая, кристальная ясность. Такая, от которой хочется выть, но голосовые связки словно перерезаны тупым ножом.

«Я ухожу не потому, что меня никто не любит. Я ухожу потому, что я больше не могу быть тем, кого нужно терпеть».

Слова ложились на бумагу тяжело, как мокрые камни. Джек остановился, прислушался. Снизу доносился смех — миссис Гарсиа смотрела вечернее шоу, и её смех был похож на кашель старого двигателя. Он не завидовал. Он просто не понимал, как это работает. Как люди находят в себе силы смеяться над шутками, когда где-то на другом конце города кто-то плачет, а в его собственной голове уже третий год идёт война, где нет ни победителей, ни перемирия.

Записка была не просьбой о помощи. Это был манифест. Крик, который он не мог издать голосом. Он писал о том, как устал притворяться, что ему интересно слушать про чью-то новую работу, новые машины, новые рецепты. Как устал от того, что каждый вдох — это усилие, сравнимое с подъёмом на Эверест. Он писал о том, что депрессия — это не грусть. Это отсутствие цвета. Это когда твой любимый музыкальный трек звучит как скрежет металла по стеклу. Это когда ты видишь лицо матери, и вместо любви чувствуешь только вину за то, что ты не можешь быть счастливым.

«Вы говорите: «Держись». Держаться за что? За край пропасти, когда пальцы уже стёрты в кровь? Я устал держаться».

Он закончил, когда за окном уже серело. Нью-Йорк никогда не спит, но в пять утра он затихает в странном, сером оцепенении. Джек встал. Колени хрустнули, отозвались болью. Он подошёл к окну, открыл створку. В лицо ударил холодный, влажный воздух с запахом асфальта и далёкого океана. Высота была приличная — седьмой этаж. Внизу, во дворе, ветер гонял пустую банку из-под газировки. Она гремела по бетону, издавая звук, похожий на дробь. Джек перекинул ногу через подоконник. Металл рамы был холодным, обжигал кожу на ладонях. Он смотрел вниз, на серый бетон, и чувствовал только одно — усталость. Огромную, как океан.

Именно в этот момент дверь в комнату с треском распахнулась. Это была не полиция. Это была Кейт. Сестра. Она стояла в проёме, в пижаме с мишками, с растрёпанными волосами

и глазами, полными ужаса. Она не закричала. Она сделала шаг, второй, и схватила его за край футболки, с силой, которая бывает только у людей, движимых чистым адреналином.

— Ты идиот, — прошептала она, и голос её сорвался на хрип. — Ты просто гребаный идиот, Джек.

Она стянула его с подоконника. Они упали на пол, больно ударившись о деревянные доски. Запах её шампуня — кокос и что-то ещё, химическое, но живое — ударил в нос, перебивая запах смерти. Джек лежал на полу, смотря в потолок, и чувствовал, как что-то горячее и мокрое капает ему на лицо. Это были её слёзы. Она плакала беззвучно, трясясь всем телом, и этот звук — тихий, судорожный вдох — был страшнее любого крика.

Записка осталась лежать на кровати. Кейт увидела её. Она не сказала ни слова, просто схватила крафтовый лист, смяла его в кулаке и… не выбросила. Она сунула его в карман пижамы. Джек не знал, зачем. Он вообще мало что соображал в тот момент. Тело била крупная дрожь, как при лихорадке. Он хотел умереть, но вместо этого его тошнило от переизбытка адреналина и бурбона.

Прошло три дня. Три дня в психиатрическом отделении больницы Маунт-Синай, где пахло хлоркой, отчаянием и варёной курицей. Джек лежал на койке, смотрел в белый потолок и считал трещины. Врачи задавали вопросы, ответы на которые были ему безразличны. Он принимал таблетки, которые делали голову ватной. Кейт приходила каждый день. Она не читала нотаций. Она просто сидела рядом, держала его за руку и молчала. Её молчание было тяжёлым, но тёплым.

На четвёртый день она принесла ему телефон. Экран светился сотнями уведомлений. Джек взял его в руки, чувствуя, как металл холодит пальцы.

— Я не выкладывала это, — тихо сказала Кейт, глядя в сторону. — Я отправила это своему психотерапевту. Чтобы он понял, что с тобой происходит. А он… он выложил это в свой блог. Анонимно. Но сейчас там уже… там все.

Джек открыл ссылку. Его текст. Его «манифест». Он был опубликован на платформе для писателей, а оттуда разлетелся по Твиттеру, Редиту, Фейсбуку. Тысячи репостов. Тысячи комментариев. Он читал их, и в груди становилось тесно, будто рёбра сжимали лёгкие.

«Это я. Это про меня. Я думал, что я один такой».

«Господи, этот парень описал мою жизнь слово в слово. Я плачу уже час».

«Это голос нашего поколения. Поколения, которое устало притворяться».

Джек смотрел на экран, и чувствовал странную смесь. Это было не облегчение. Это было чувство чужого взгляда. Тысячи глаз смотрели на его грязь, на его кровь, на его самое сокровенное, и находили там что-то красивое. Они находили там искусство. Они не видели рвоты на полу, не слышали звона пустой бутылки, не чувствовали запаха немытого тела. Они видели только слова.

Через неделю его выписали. А ещё через два дня раздался звонок. Издательство «Харпер-Коллинз». Молодой, энергичный голос на другом конце провода говорил быстро, захлёбываясь энтузиазмом:

— Мистер Томпсон, то, что вы написали — это гениально. Это новый «Над пропастью во ржи», только для эпохи цифрового отчуждения. Мы хотим предложить вам контракт. Книга. Ваша история. Вы станете голосом тех, кто молчит. Вы дадите им надежду.

Джек стоял на кухне своей квартиры, держа телефон у уха. Вода в чайнике закипала, издавая нарастающий, пронзительный свист. Он смотрел на стол, где лежали недоеденные хлопья, и чувствовал, как внутри образуется пустота. Вакуум. Ему предлагали контракт на его собственную смерть. Ему предлагали стать символом борьбы, хотя он проиграл эту борьбу в тот самый момент, когда Кейт схватила его за футболку.

— Мистер Томпсон? Вы меня слышите?

— Да, — сказал Джек. Голос был ровным, чужим. — Я слышу вас. Я подумаю.

Он не думал. Он согласился. Потому что Кейт смотрела на него с надеждой. Потому что мать перестала плакать. Потому что впервые в жизни он стал кому-то нужен. И эта нужность была тяжёлой, как свинцовая мантия.

Книга вышла через год. «Тишина между ударами» — так её назвали. Обложка была минималистичной: чёрный фон и белая, тонкая линия, похожая на трещину. Книга стала бестселлером. Джек ездил по стране с лекциями. Он стоял на сценах университетов, в конференц-залах, под светом софитов, и говорил о депрессии. Он говорил о том, как важно просить о помощи. Он рассказывал историю о том, как сестра спасла его, как он нашёл в себе силы жить дальше.

Зал взрывался аплодисментами. Люди подходили к нему после выступлений. Они обнимали его. Они плакали. Они говорили: «Вы спасли моего сына». «Вы спасли меня». «Вы — мой герой».

Джек улыбался. Он научился улыбаться так, чтобы уголки губ не дрожали. Он пожимал руки, влажные от чужих слёз и пота. Он вдыхал запах их надежды — запах дезодоранта, кофе и искренности. И в эти моменты он чувствовал себя самым грязным человеком на планете.

Потому что внутри ничего не изменилось.

Каждое утро он просыпался с мыслью, что сегодня — хороший день, чтобы умереть. Разница была лишь в том, что теперь у него был график. Теперь у него были обязательства. Теперь его смерть была бы плохим пиаром. Он стал заложником собственного спасения. Он был символом жизни, но жил в аду. Таблетки, которые ему выписывали, менялись, дозы росли, но чёрная дыра внутри не исчезала. Она просто становилась тише, вежливее, но всё такой же голодной.

Шёл третий год его «новой жизни». Нью-Йорк снова был серым. Джек стоял в гримёрке перед выступлением в большом зале на Манхэттене. Пахло пудрой, лаком для волос и нервным потом. Он смотрел на себя в зеркало. Лицо было усталым. Глаза — пустыми. Он провёл рукой

по щетине, чувствуя, как колется кожа на ладони. В кармане пиджака лежала ручка. Та самая, дешёвая шариковая ручка. Он носил её с собой как талисман. Как напоминание.

И вдруг его осенило.

Он сел на стул перед зеркалом, достал блокнот, который всегда носил с собой для автографов, и открыл чистую страницу. Ручка коснулась бумаги. И полилось.

«Вы сделали из моей боли продукт. Вы повесили моё отчаяние на стену в красивой раме и назвали это искусством».

Он писал быстро, почти не дыша. Слова рвались наружу, как кровь из раны. Он писал о том, что его спасение было насилием. О том, что его заставили жить, но не научили, как это делать. Он писал о лицемерии общества, которое любит истории о выздоровлении, но не любит запах пота и немытых волос. Он писал о том, что депрессия — это не поэзия. Это не «красивая грусть». Это грязно. Это стыдно. Это физически больно.

«Не романтизируйте мою боль. Не делайте из неё открытку. Я не хочу быть вашим вдохновением. Я хочу просто перестать чувствовать этот холод. Вы аплодируете мне стоя, но никто из вас не согласился бы провести и дня в моей голове. Вы называете меня голосом поколения, но вы не слышите, что я говорю на самом деле. Я говорю: помогите. Не спасайте меня ради истории. Спасайте, потому что это больно. А если не можете — хотя бы не воруйте мою смерть, чтобы украсить ею свою жизнь».

Он поставил точку. Последнюю, жирную, продавившую бумагу до дыр. В зале уже играла музыка. Кто-то стучал в дверь: «Мистер Томпсон, ваш выход».

Джек сложил лист пополам. Он не стал его прятать. Он положил его на гримировальный столик, под свет лампы. Он знал, что уборщица найдёт его. Знал, что кто-то прочитает. И, возможно, на этот раз его услышат по-настоящему.

Он вышел на сцену. Свет софитов ударил в глаза, ослепил на секунду. Зал взорвался аплодисментами. Сотни людей встали, приветствуя своего героя. Джек подошёл к микрофону. Он посмотрел в зал, на эти лица, полные надежды и ожидания чуда. Он взял микрофон в руки, чувствуя, как холодный металл касается губ.

— Спасибо, — сказал он. Голос звучал ровно. — Я хочу прочитать вам кое-что новое.

Зал затих. В наступившей тишине было слышно, как гудит вентиляция. Джек развернул лист, который вытащил из кармана. Это был не тот манифест, что лежал в гримёрке. Это был старый, тот самый, первый. Он начал читать. Слова падали в тишину, как камни в воду. Он читал о том, как устал. О том, как держаться за край пропасти.

Люди в зале плакали. Они думали, что это художественное чтение. Они думали, что это часть шоу. Они не понимали, что это не искусство. Это была предсмертная записка, которую он так и не оставил. И теперь он читал её им, живым, дышащим, но по-прежнему мёртвым внутри.

Он закончил. Тишина длилась секунду, а потом зал снова взорвался овацией. Люди хлопали, вытирая слёзы. Они были счастливы. Они получили катарсис. Они получили свою дозу эмоций.

Джек опустил лист. Он посмотрел на эти хлопающие руки, на эти мокрые лица. И впервые за три года он почувствовал кое-что новое. Не радость. Не облегчение. Злость. Холодную, чистую злость.

Он понял, что его никогда не спасут. Его просто сделали красивым. А красивое не нуждается в спасении. Красивым нужно любоваться.

Он ушёл со сцены под гром аплодисментов. В гримёрке он снял пиджак, бросил его на стул. На столике лежал второй манифест. Его никто не взял. Пока никто.

Джек взял ручку. Ту самую, дешёвую. Он посмотрел на неё, на этот пластиковый корпус, стёртый на гранях. И подумал, что, может быть, однажды кто-то прочитает его второе слово. Не как историю болезни. Не как символ. А как предупреждение. Как просьбу.

Он положил ручку в карман. Взял телефон. Кейт прислала сообщение: «Ты был великолепен. Я горжусь тобой».

Джек смотрел на экран, пока он не погас. В отражении чёрного стекла он увидел своё лицо. Оно было спокойным. Уставшим. Живым.

Он не знал, что будет завтра. Он не знал, хватит ли у него сил дожить до утра. Но он знал одно: он больше не будет молчать о том, что значит хотеть умереть, когда все вокруг хотят, чтобы ты жил ради их вдохновения.

Он сел на пол, привалившись к стене. Закрыл глаза. В тишине гримёрки было слышно только его дыхание. Медленное. Ровное. И где-то глубоко внутри, под слоями боли, страха и усталости, билось сердце. Оно билось не ради славы. Не ради книги. Оно билось просто потому, что не умело иначе.

И, может быть, этого было достаточно. Хотя бы на сегодня.

7 - форель разбивает лёд

Холод в морге округа Малтнома пахнет не только формалином. Он пахнет старым линолеумом, который мыли тысячи раз хлоркой, но он всё равно хранит в порах память о чужой крови, о чужих последних минутах. Он пахнет мокрым цементом подвальных стен, где сырость впитывается в бетон и остаётся там навсегда, как память о наводнении. Он пахнет дешёвым кофе из автомата в коридоре — растворимым, обжигающим, с привкусом картона, который сотрудники пьют не потому, что хотят, а потому что нужно чем-то заполнить пустоту между одной смертью и следующей. Этот запах въелся в поры кожи двадцатичетырёхлетней Элизы Вэнс так глубоко, что даже дорогой шампунь с лавандой, который она покупала в «Whole Foods» по пути домой, не мог его перебить. Она пробовала духи. Она пробовала менять кондиционер для белья. Она даже пробовала неделю не ходить на работу — взяла отпуск, уехала на побережье, дышала солёным воздухом Ньюпорта. Но запах остался. Он жил где-то под кожей, в подкорке, в том тёмном месте, куда не добирается ни один аромат.

Работа в окружном морге на юго-востоке Третьей авеню не была мечтой детства. Скорее — логичным финалом череды личных катастроф, приведших к тому, что живое человеческое общество вызывало у неё тошноту, а общество мёртвых — предсказуемое, тихое и абсолютно невзыскательное — стало единственным комфортным фоном существования. Элиза пришла сюда в двадцать один год, после того как бросила университет на третьем курсе психологии, после того как разошлась с человеком, которого, как ей казалось, любила, после того как её мать второй раз вышла замуж и уехала в Аризону, оставив ей голосовое сообщение длиной в сорок секунд, в котором ни разу не прозвучало её имя. Морг принял её без вопросов. Морг не просил быть мягкой. Морг не просил улыбаться. Морг просто позволял ей быть.

Ночь выдалась сырой. Дождь, типичный для Орегона, барабанил по жестяной крыше морга с монотонностью метронома, отмеряющего часы чьего-то безвременья. Капли дробились о металл, скатывались по водосточным трубам, и их глухой стук смешивался с гулом вентиляционной системы, которая тянула из секционного зала воздух, очищая его от запаха разложения. Светодиодные лампы дневного света гудели над стальным столом — низкое, зудящее гудение, от которого через восемь часов смены начинало ломить в висках. Они отбрасывали резкие, неживые тени на кафельный пол, выкрашенный в цвет старой слоновой кости, и на нержавеющую сталь инструментов, разложенных на лотке: скальпели, ножницы, пила, костотом, иглодержатель с изогнутой иглой, шпатель, зонд. Элиза знала каждый из них на ощупь, как пианист знает клавиши.

Она стояла над очередным поступлением. Мешок для трупов был необычно тяжёлым и каким-то бугристым, что сразу насторожило её профессиональный взгляд. Патологоанатомы редко удивляются — смерть предсказуема в своём разнообразии, и после сотни вскрытий перестаёшь вздрагивать от того, что находит внутри. Но этот экземпляр, выловленный из ледяных вод реки Уилламетт недалеко от Селвудского моста, обещал быть интересным. Что-то в нём было не так. Что-то в конфигурации мешка, в его тяжести, в том, как он лежал на каталке — слишком плотно, слишком округло, словно внутри было что-то ещё, помимо тела.

Молния мешка разошлась с сухим, вибрирующим звуком, обнажая бледную, разбухшую плоть. Мужчина, лет сорока, с лицом, застывшим в гримасе вечного удивления. Кожа приобрела тот специфический серо-синий оттенок, который бывает только у утопленников, проведших в воде достаточно времени, чтобы жизнь окончательно покинула их, но недостаточно,

чтобы начались необратимые процессы разложения. Волосы, тёмные, слипшиеся, прилипли ко лбу. Глаза были открыты — мутные, цвета старого стекла, они смотрели в потолок с выражением, которое Элиза не могла расшифровать. Она видела сотни таких глаз. Но эти… в этих было что-то, от чего у неё на секунду пересохло во рту. Она сглотнула. Отвернулась. Взяла перчатки.

Латекс натянулся на пальцах с тихим щелчком, и резкий запах талька смешался с аммиачными нотками, идущими от тела. Пальцы привычно скользнули по холодной, словно мрамор, поверхности, фиксируя внимание на деталях, которые обычный человек счёл бы шокирующими, а она — рутинными. Вот следы на запястьях — не верёвка, не наручники, что-то другое, какие-то тонкие полосы, оставленные чем-то вроде провода или пластиковой стяжки. Вот ссадина на левом виске, поверхностная, почти зажившая. Вот странное уплотнение под кожей на груди, прямо над сердцем — не гематома, не опухоль, что-то инородное, плотное, размером с монету. Элиза нахмурилась. Отметила это в уме. Продолжила осмотр.

В правом кармане промокших джинсов прощупывалось что-то твёрдое и продолговатое. Элиза нахмурилась. Обычно карманы утопленников полны ила, водорослей или мелкой речной дряни — монеты, ключи, иногда телефон в водонепроницаемом чехле, который всё равно уже не включится. Но это… Извлекая предмет, она ощутила странную тяжесть и неестественный холод, который не соответствовал температуре тела, уже сравнявшейся с температурой воды в реке. Это была рыба. Небольшая, серебристая, с остекленевшими глазами и плотно сжатыми губами — замороженная форель. Абсурдность ситуации резанула по нервам острее скальпеля. Рыба в кармане утопленника выглядела как чья-то злая шутка, как оксюморон, воплощённый в плоти и льду. Элиза держала её в руке, чувствуя, как холод просачивается сквозь латекс, добирается до кожи, до костей. Форель была красивой. Даже мёртвая, даже замороженная, она сохранила изящество линий, серебро чешуи, тёмные крапины на спине. Она выглядела так, словно её выхватили из другого мира — мира текущей воды, живой реки, движения — и бросили сюда, в царство неподвижности.

Скальпель в руке Элизы дрогнул, когда она начала вскрытие. Разрез шёл от ключиц до лобка — прямая, чистая линия, разделяющая мир живых и мёртвых. Кожа разошлась легко, как бумага, обнажая жёлтый слой подкожного жира, потом — тёмно-красные мышцы. Грудина хрустнула под костотомом, издав звук, похожий на ломающуюся ветку в зимнем лесу. Запах усилился — теперь к аммиаку добавился металлический, тёплый запах внутренностей, запах железа и соли. Элиза дышала ртом, привычно, не замечая этого. Внутренние органы, извлечённые из грудной клетки, были тяжёлыми, пропитанными водой. Лёгкие, наполненные жидкостью, напоминали губки — серые, разбухшие, они весили больше, чем должны были. Печень была увеличена. Почки — тёмные, с множественными точечными кровоизлияниями. Сердце… Сердце было странным. Оно не просто остановилось, оно сжалось, словно от невыносимой боли или холода, который не имел ничего общего с температурой реки.

Когда Элиза добралась до желудка, её движения замедлились. Внутри, среди полупереваренной пищи — что-то зернистое, похожее на овсянку, и кусочки чего-то тёмного, возможно, водорослей — находился плотный полиэтиленовый сверток. Аккуратный, герметичный, он был имплантирован в тело, словно капсула времени в скалу. Элиза извлекла его пинцетом, промокнула марлей, положила на лоток. Пальцы, когда она вскрывала оболочку, дрожали. Она не помнила, когда в последний раз у неё дрожали пальцы.

Внутри был сложенный вчетверо лист бумаги. Бумага была сухой, но холодной, словно её долго держали в морозильной камере. Почерк был неровным, дрожащим, буквы прыгали, будто писал человек, у которого отнимаются от холода пальцы, или человек, который торопится, или человек, который боится. Всего три слова. Элиза прочитала их. Потом ещё раз. Потом ещё раз, шевеля губами беззвучно, как делают дети, учась читать.

«Разбей свой лёд, пока не поздно».

Слова ударили в сознание Элизы, словно разряд дефибриллятора. Она замерла, держа окровавленный листок пинцетом. В ушах зашумело, заглушая гул ламп. Сердце — её собственное сердце, которое она привыкла считать холодным и неподвижным, как сердце трупа — вдруг ударило в груди, сильно, больно, как будто пыталось доказать, что оно ещё живо. Это не было похоже на предсмертную записку в обычном понимании. Это был приказ. Это был вызов. Это был ключ, который не подходил ни к одной двери в этом здании, но, возможно, подходил к той двери, которую Элиза старательно заваривала внутри себя последние годы. «Разбей свой лёд». Она посмотрела на замороженную форель, лежащую на подносе рядом с телом. Серебристая чешуя тускло поблёскивала под холодным светом. Речная рыба, застывшая во времени и пространстве, принесённая мертвецом как символ чего-то живого и отчаянного.

В ту ночь Элиза не пошла домой. Она сидела в комнате отдыха для персонала, в кресле с продавленной обивкой, пила кофе из автомата — тот самый, с привкусом картона — и смотрела на форель, которую положила в пластиковый контейнер для образцов. Рыба медленно оттаивала. С её тела капала вода, образуя на дне контейнера маленькую лужицу. Элиза смотрела на эти капли и думала о том, что они — единственное движение в этой комнате, единственное доказательство того, что время идёт. Она не спала. Она не могла.

К трём часам ночи она уже знала личность утопленника. Дэвид Чейз, сорок два года, бывший биолог-ихтиолог, уволенный из Университета штата Вашингтон три года назад. Официальная причина — «нарушение академической этики». Неофициальная — «странные взгляды на природу сознания». Элиза нашла его статьи в архивах научных журналов, его блог, его страницы в социальных сетях, которые он не удалил, хотя перестал обновлять два года назад. Она читала его тексты, и с каждой строчкой ей становилось всё холоднее. Дэвид писал о рыбах. О том, как форель идёт на нерест против течения. О том, как она пробивает лёд, чтобы глотнуть воздуха весной. О том, что человек — единственное существо, которое добровольно загоняет себя в лёд и остаётся там, даже когда приходит весна. Он писал об этом не как учёный. Он писал об этом как человек, который тонет.

Следующая неделя превратилась в одержимость. Элиза, обычно покидавшая морг ровно в пять вечера, чтобы вернуться в свою пустую квартиру с видом на автостоянку, теперь оставалась после смены, копаясь в архивах и базах данных. Она врала себе, что это профессиональный интерес. Она врала себе, что хочет понять, что случилось с Дэвидом Чейзом, потому что это её работа — понимать, как люди умирают. Но глубоко внутри, в том месте, которое она старательно замораживала годами, она знала правду. Она искала не ответы. Она искала знаки. Она искала доказательство того, что послание в бутылке — послание в желудке — было адресовано ей.

След вел в заброшенный рыбоводческий комплекс в предместьях Ванкувера, штат Вашингтон, место, которое местные называли «Ледником». Официально там располагалась лаборатория по криоконсервации, закрытая пять лет назад из-за отсутствия финансирования.

Неофициально — секта. Элиза нашла его в темноте интернета, на форумах, скрытых от индексации поисковиками, за паролями, которые пришлось подбирать, за зеркалами сайтов, которые появлялись и исчезали, как грибы после дождя. Группа людей, называющих себя «Прозрачными», верила, что человеческое сознание можно сохранить, если остановить биологические процессы в момент наивысшего эмоционального всплеска. Они не замораживали мёртвых. Они замораживали живых. Добровольно. Ради «просветления». Ради того, чтобы «разбить лёд» человеческих ограничений и шагнуть в вечность.

Элиза читала их манифесты, их свидетельства, их комментарии. Она смотрела их видео — размытые, снятые на телефон, с дрожащей камерой и голосами, которые шептали, а не говорили. Она видела лица людей, которые улыбались, стоя перед резервуарами с жидким азотом. Она видела глаза, в которых был не страх, а что-то другое. Что-то, что она не могла назвать. Что-то, что пугало её больше, чем страх.

Расследование требовало погружения. Элиза чувствовала, как её собственная броня — тот самый лёд, который она выращивала годами, чтобы не чувствовать боль от потерь, от одиночества, от рутины — начинает трескаться. Каждая новая деталь, каждый найденный документ, каждая фотография замерзших тел в позах молящихся, вызывали в ней бурю, которую она так долго подавляла. Она стала плохо спать. Она стала видеть сны — странные, липкие, в которых она стояла на льду замерзшего озера, а под ногами, в толще воды, плавали люди. Они смотрели на неё. Они стучали в лёд. Они просили разбить его. Она просыпалась с криком, которого не было — только беззвучно открытый рот и мокрые от пота волосы.

Она поняла, что форель в кармане Дэвида Чейза была не просто рыбой. Это был символ. Форель, идущая на нерест против течения, рыба, которая пробивает лёд, чтобы глотнуть воздуха весной. Дэвид был тем, кто попытался разбить лёд этой секты изнутри, но его собственный лёд — лёд отчаяния — оказался слишком крепок, и он утонул, оставив послание для того, кто найдёт его. Для того, кто поймёт. Для того, кто тоже тонет.

Кульминация наступила в заброшенном ангаре на берегу озера, где «Прозрачные» проводили свой последний ритуал. Элиза узнала о нём случайно — перехватила сообщение на одном из форумов, зашифрованное, но она уже научилась читать их шифры. Дата. Время. Место. Она не сказала никому. Она не вызвала полицию. Она просто села в свою машину — старую «Хонду Цивик» с треснувшим лобовым стеклом — и поехала на север, через мост, через границу, в темноту.

Воздух в ангаре был таким холодным, что дыхание превращалось в кристаллы. Элиза, пробравшись внутрь через вентиляционную шахту — она испачкала куртку, разодрала колено, но не чувствовала боли — увидела их. Люди в белых балахонах стояли вокруг огромного резервуара с жидким азотом. Их лица были скрыты капюшонами. Они пели. Монотонное, вибрирующее гудение, от которого закладывало уши и начинало казаться, что стены дышат. В центре, на льдине, лежала девушка. Живая. Её глаза были широко открыты, зрачки расширены от ужаса и, возможно, от надежды. Волосы, светлые, разметались по льду, как водоросли. Губы шевелились — она что-то шептала. Молитву? Имя? Слово «помогите»? Элиза не слышала. Она слышала только пение. Они собирались опустить её в азот. Заживо.

В этот момент Элиза должна была сделать выбор. Она могла вызвать полицию, но это заняло бы время. Она могла уйти, сохранить свою безопасность, свою холодную, предсказуемую жизнь, где нет места эмоциям и риску. Она могла закрыть глаза и снова заморозить себя,

как делала это тысячу раз. Но перед её внутренним взором стояла та форель. Серебристая, замороженная, но всё ещё живая в своей сути. Послание: «Разбей свой лёд, пока не поздно».

Сектанты начали петь громче. Один из них, тот, что стоял ближе всех к резервуару, поднял руку. Элиза вышла из тени. Она не кричала, не угрожала. Она просто шла — медленно, ровно, как будто шла по коридору морга, как будто шла по льду, который мог треснуть в любой момент. Она подошла к пульту управления и, глядя в глаза лидеру секты — старику с глазами, похожими на два куска льда, с бородой, белой, как снег, с руками, которые не дрожали — нажала кнопку, которая остановила спуск.

Старик посмотрел на неё. Он не удивился. Он улыбнулся — медленно, страшно, как улыбается человек, который знает что-то, чего не знаешь ты.

— Ты пришла, — сказал он. Голос был низким, скрипучим, как несмазанная дверь. — Мы ждали тебя.

— Вы меня не знаете, — ответила Элиза. Её голос не дрожал. Она сама удивилась этому.

— Мы знаем всех, кто тонет, — старик сделал шаг к ней. — Ты тонешь уже давно. Мы видели тебя. В твоих глазах. В том, как ты держишь скальпель. В том, как ты не чувствуешь.

Элиза схватила пожарный лом, висящий на стене — тяжёлый, холодный, покрытый ржавчиной. Она ударила по трубе подачи азота. Металл застонал, лопнул, и белый пар, похожий на призрака, хлынул в помещение, создавая хаос. Люди в балахонах закричали — не словами, а звуками, похожими на вой ветра в трубе. Элиза бросилась к резервуару. Лёд под её ногами трещал. Девушка на льдине смотрела на неё. Её глаза были голубыми. Такими голубыми, что казались кусочками неба, упавшими в этот подземный ад.

В суматохе Элиза вытащила девушку с льдины. Тело было холодным, почти неживым, но пульс бился. Слабый, как стук форели по тонкому льду. Элиза схватила её на руки — она была лёгкой, слишком лёгкой, как будто внутри неё не было костей, только лёд и вода — и побежала к выходу. Старик кричал ей вслед. Она не оборачивалась.

Вытаскивая её на улицу, в ночь, в дождь, Элиза чувствовала, как её собственная кожа горит огнём. Лёд внутри неё треснул. Больно. Страшно. Но это была боль жизни, а не смертный холод. Дождь падал на лицо, смешивался со слезами, которых она не замечала. Она бежала через поле, через грязь, через темноту, и девушка в её руках дышала — слабо, прерывисто, но дышала.

Они сидели на мокрой траве у дороги, пока вдалеке выли сирены — кто-то из сектантов всё-таки вызвал полицию, или, может быть, соседи услышали шум. Элиза держала спасённую девушку за руку, чувствуя, как тепло возвращается в её пальцы. Девушка смотрела на неё. Она не говорила — не могла, горло было сорвано криком или холодом. Но в её глазах было что-то, что Элиза поняла без слов. Благодарность. И вопрос. «Почему ты пришла?»

В кармане куртки Элизы лежала та самая замороженная форель, которую она забрала из морга. Она больше не была символом смерти. Она была талисманом. Напоминанием о том, что даже в самом глубоком холоде, в самой тёмной воде, есть сила, способная разбить лёд. И эта сила — не что иное, как желание жить. Желание чувствовать. Желание рискнуть.

Полиция приехала через двадцать минут. Элиза дала показания — сухие, чёткие, как отчёт о вскрытии. Она не упомянула форель. Она не упомянула послание. Это было её. Только её. Девушку увезли в больницу. Элиза не знала её имени. Она не спросила. Ей казалось, что имя — это лишнее. Что-то, что может всё испортить.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.